ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

Василий Алексеевич
МАКЛАКОВ

Политик, юрист, человек

ИЗДАНИЕ ДРУЗЕЙ
В. А. МАКЛАКОВА

Глубокоуважаемому
Абраму Самойловичу Альперину
от преданного автора
Георгий Адамович

Василий Алексеевич

МАКЛАКОВ

На правах рукописи

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

Василий Алексеевич МАКЛАКОВ

Политик, юрист, человек

ПАРИЖ
1959

Экземпляр № 2.



ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ М А К Л А К О В.

В. В. ВЫРУБОВУ, Издателю книги.

Дорогой Василий Васильевич,

Вы вероятно колебались прежде, чем предложить мне написать очерк жизни и деятельности покойного Василия Алексеевича Маклакова. Вы знали, что тема такой работы мне сравнительно чужда, и у Вас могли — пожалуй даже должны были — возникнуть сомнения: не правильнее ли обратиться к человеку, который был близок к Маклакову по своей профессии или же принимал непосредственное участие в русской политической жизни начала нашего века? Адвокатура и политика — вот те две области, в которых сосредоточена была деятельность Маклакова. Естественно было бы с Вашей стороны искать автора предположенной книги среди политиков или юристов.

Не мое дело судить, почему обратились Вы именно ко мне. Но сказать о том, почему я Ваше предложение принял, — правда, тоже не без колебаний, — я считаю своим правом и думаю даже, что такое разъяснение необходимо. Иначе согласие мое могло бы оказаться приписано самоуверенности или легкомыслию.

Лично я знал Василия Алексеевича довольно давно, с первых лет эмиграции, но знал мало. Встречался я с ним большей частью "на людях", беседы наши были поверхностно-общими, случайными, незначительными, и ни одна из них твердо мне не запомнилась. Да в сущности, о бе-

седах нельзя и говорить: Маклаков что-то рассказывал, вспоминал, я вместе с другими тут же находившимися его знакомыми слушал, тем дело и ограничивалось.

Но он всегда меня интересовал. Всегда мне казалось, что человек этот — из разряда тех даровитых русских людей, которые обречены сделать меньше, чем сделать могли бы. Лишние люди? Нет, едва ли, во всяком случае — не совсем. Эпитет "лишний" звучит обидно, и назвать Маклакова "лишним" никто не решится. Но если вспомнить длительную эволюцию этого понятия в русской жизни, все варианты его, все видоизменения, которые оно за сто лет претерпело, оттенок обидности исчезает, и тогда в применении его к Маклакову может обнаружиться смысл. Лишние — потому, что противоречивые, сложные, чрезмерно много видящие, слишком много понимающие, чтобы раз навсегда сделать выбор и идти по одной линии. Лишние — в том значении, в каком, например, Герцен был из рода лишних, по сравнению, скажем, с Чернышевским, бесконечно менее одаренным, но и бесконечно менее сомневавшимся, самой природой своей застрахованным от сомнений, отступлений и разочарований.

Маклаков был крупным политическим деятелем. Но в его поздних, настойчивых попытках доказать роковую опрометчивость той политики, к которой сам он имел перед революцией близкое касательство, чувствуется отталкивание от политики вообще, — и как следствие, возвеличение (теперь принято говорить "сублимация") той политической линии, которая в России была невозможна и которую он сам бы отверг, если бы проводить ее тогда ему предложили. В его страстных обличениях тех общественных деятелей, которые будто бы имели возможность наладить сотрудничество с исторической властью, но не сумели, не захотели сделать это, есть характерная для Маклакова черта: он говорит о политическом положении

в стране так, будто оно представляло собой нечто абстрактное, похожее на шахматную доску с расставленными на ней фигурами, и утверждает: "в такой-то момент надо было сделать такой-то ход вместо такого-то". Теоретически он может быть и прав, но прав ли практически? Маклаков не хочет считаться с тем, что в данной игре отсутствовал, — и не мог не отсутствовать, — общий единый замысел, поскольку каждая фигура, и прежде всего та, которой тогда на нашей шахматной доске принадлежала главная роль, имела свои расчеты, свои слабости, свое самолюбие и, в конце концов, свою слепоту. Политическая переоценка ценностей, предпринятая Маклаковым на расстоянии четверти века, убедительна и стройна потому, что ей уже не обо что разбиться и ни на чем реальном проверить ее уже нельзя. В живой, трагической неразберихе умчавшихся лет чуть ли не все по сравнению с предлагаемой теперь схемой действительно кажется ошибочным, близоруким, самоубийственным. Но если бы в былую обстановку перенестись.....; не хочу однако сейчас обо всем этом говорить, не хочу забегать вперед и касаться того, что составляет содержание одной из глав книги.

Маклаков был адвокатом и, по единодушному признанию знатоков, адвокатом блестящим. Блестящ он был впрочем во всем, за что бы он ни брался. Но едва ли в какой либо из его защитительных речей больше блеска, чем в том его разоблачении сущности адвокатской деятельности, в том его неотразимо-логическом рассуждении о неизбежной "беспринципности" всякого адвоката, которое находится в статье его "Толстой и суд".

"Адвокатская профессия развивает способность аргументации и уничтожает способность убеждения" — говорит, не колеблясь, один из самых прославленных представителей профессии, и говорит очевидно en connais-

sance de cause. Правда, Маклаков, будто испугавшись излишней откровенности, тут же спохватывается, и замечает, что не следует придавать его словам "дурного смысла". Но какой бы смысл в них ни вложить, сказал он несомненно нечто очень близкое старинной русской поговорке о "нанятой совести"...

К чему я сейчас, во вступлении к книге, в письме к Вам, Василий Васильевич, обо всем этом вспоминаю? Отвечу коротко и насколько могу ясно: я бы не взялся за книгу о политическом деятеле или о юристе, который всего себя в свою работу вложил и ею себя исчерпал. Деятели такие существуют, и даже если волей истории оказались они неудачниками, т.е. если и не достигли поставленной себе цели, то след оставили и образовали круг единомышленников, учеников, посильных продолжателей. Маклаков был не из их числа, как и юрист он был не из числа "столпов", которые не в силах даже представить себе, чтобы можно было усомниться во внутреннем достоинстве и благородстве избранной ими профессии. Маклаков был человеком прежде всего, и только затем политиком и адвокатом. Поэтому он и не предстает во весь свой рост ни в той, ни в другой области, как будто лишь часть самого себя каждой из них уделив. Мне случилось однажды слышать замечание одного ученнейшего русского юриста, с неподдельным восторгом вспоминавшего судебные выступления Маклакова, а затем вскользь промолвившего: "Нужен был весь его талант, чтобы заставить забыть, что в нашем деле он всетаки был чуть-чуть диллетантом".......

Думаю, что и в политике, Милюков, например, если бы надо было ему лаконически охарактеризовать деятельность Василия Алексеевича, нашел бы слово "диллетант" — пусть и с приставкой "чуть-чуть" — более или менее подходящим.

Но упрек ли это, или во всяком случае, даже если это упрек, нет ли в нем и невольного, безотчетного признания в другом человеке большей широты, большей гибкости, разносторонности, впечатлительности, духовной отзывчивости? У Маклакова не было "шор", которые позволяли бы идти вперед, — а часто и вести за собой людей, — "без страха и сомнения", в нем абсолютно отсутствовал фанатизм, даже те последние остатки фанатизма, т.е. дотлевающие угольки его, которые для движения по прямой линии необходимы.

В одной из его книг "Власть и общественность", есть любопытная характеристика деятеля, теперь уже забытого, Н. Н. Баженова: "Очаровательный был человек, и как все очаровательные люди, исполненный противоречий".

Это сказано будто о самом себе. Василий Алексеевич был неотразимо очаровательным человеком и весь был полон противоречий. В памяти знавших его, он оставил след долгий, именно как человек, а не как политик или юрист, как человек в целом, как человек "вообще", и если бы надо было определить, что было в нем особенно замечательно, возникли бы затруднения. Ум, проницательность, красноречие, великодушие, благородство, да, все это вместе, но не какая либо одна черта в отдельности. Оттого к нему и тянуло людей, оттого его и любили, а не только "ценили". От него веяло человечностью, которой ничто не было чуждо.

Встреча с Толстым и близость к нему несомненно имели на Маклакова очень большое воздействие. Он не был склонен сказать, вслед за столькими известнейшими нашими деятелями, а тем более юристами "да, конечно, гениальный художник, но....." — и свести это "но" к тому, что старик, мол, блажил, юродствовал и даже лицемерничал. Маклаков не следовал за Толстым, но и не от-

верг, его, и повидимому всегда о нем помнил. Эта благоговейная верность Толстому, это удержавшееся в тайниках души убеждение, что старик то в сущности был прав, хотя и ни у кого из нас нет сил претворить его слова в дело, — как мог Маклаков с этой раной в сознании, Маклаков, сказавший, что "Смерть Ивана Ильича", — повесть с тем ведь и написанная, чтобы отбить вкус и охоту ко всякому жизненному благополучию или успеху, — для него — "откровение мудреца", как мог он остаться вполне успешным, уверенным в себе, счастливым, убежденным, стойким деятелем в какой бы то ни было области? И как было бы возможно, при его исключительной даровитости, не почувствовать всякому встречавшемуся с ним, что некоторая зыбкость его облика объясняется главным образом пренебрежением к тому, что полностью удовлетворяет других? Невозможностью осуществить недостижимый синтез, примирить непримиримое?

Помните, Василий Васильевич, Вы рассказывали мне о разговоре, шедшем когда то у князя Львова и касавшемся именно Маклакова. Разговор был дружественный, хотя единодушия в суждениях и отзывах не было. Присутствовавший тут же М. А. Стахович признался, что и он далеко не всегда, далеко не во всем, бывает с Маклаковым согласен. А потом, помолчав, добавил:

"Вот что я хотел бы вам все таки сказать...... У нас на Поволжии есть поверие: в рождественскую ночь на землю сходит младенец Христос и облетает все дома, и богатые и бедные, где есть новорожденный. На одних только взглянет, других коснется. Дети выростают, становятся взрослыми, живут каждый по своему, стареют. Но тех, кого Христос коснулся, отличить можно всегда. Они — особые, не похожие на других, вот как наш Василий Алексеевич. И я верю — его при рождении коснулся Христос".

Было бы с моей стороны притворством сказать, что верю, действительно верю во что либо подобное и я. Да конечно и Стахович говорил только о легенде, о сказке. Но с мыслью его, со впечатлением его от личности Маклакова я согласен, — и вот почему я был рад принять Ваше предложение и написать о Василии Алексеевиче книгу. А удалась ли она мне, не знаю, и вопрос это совсем другой.

Г. А.

Детство и юность

О своем детстве, о родителях Василий Алексеевич Маклаков сам рассказал довольно обстоятельно в книге "Из воспоминаний", написанной им в последние годы жизни. Пересказывать отдельные главы этой книги, перечислять факты, называть имена представляется мне излишним, а для того, чтобы чем-либо их дополнить, — нет достаточно данных, да едва ли это и было бы нужно.

Ограничусь поэтому сведениями основными.

Две общественные линии скрестились в семье Маклаковых, и каждая из них должна была оказать на Василия Алексеевича влияние. Мать, урожденная Чередеева, была из богатой помещичьей и служилой среды старо-дворянского склада и до конца своей короткой жизни сохранила в мыслях, во взглядах, в манерах черты для этой среды обычные. Отец, тоже дворянин, по духу своему принадлежал скорее к интеллигенции и был представителем, пожалуй даже выразителем, эпохи промежуточной, не склоняясь однако ни к одной из ее крайностей.

В обрисовке Маклакова мать его слегка напоминает Лизу из "Дворянского гнезда": сдержанность, сила религиозного чувства, вполне свободного от каких-либо сомнений, верность долгу. Стоило бы когда-нибудь составить сборник под названием "Образ матери в русской литературе": книга получилась бы замечательная, с гораздо более глубокими и даже таинственными откликами, чем кажется на первый

взгляд. Лермонтов, который по правдоподобному (и поэтически-чудесному) предположению вспоминал о пении матери, умершей в его младенчестве, когда писал об ангеле, летевшем "по небу полуночи", Толстой, Некрасов, с его предсмертными стонами, — "но в муках мы мать вспоминаем", — многое другое. В сборник этот следовало бы включить и рассказ Маклакова. Он говорит о матери, что она "пустила в душу какие-то ростки, которые жизнь рассеяла уже потом". Но не сказались ли в этих словах, хотя бы отчасти, его душевная стыдливость, боязнь быть слишком откровенным в автобиографии? Возможно и даже вероятно, что жизнь не бесследно "рассеяла" то, что мать в душу его заронила. Во всяком случае воспоминания его о ней проникнуты лиризмом, вообще-то в его писаниях редким.

Она умерла, когда ему было одиннадцать с половиною лет, повидимому от кровоизлияния в мозг. Болела всего два дня. Накануне смерти еще теплилась надежда: ждали Захарьина, "как чудотворца"... Кто жил в Москве, даже во времена более поздние, помнит вероятно ореол, еще окружавший имя Захарьина, хотя сам он давно уже был в гробу, помнит восклицания, сетования: "ах, если бы жив был Захарьин, он бы меня вылечил!" "Вот, к несчастью, нет больше Захарьина!", — с уверенностью, что был он именно чудотворцем. Но на этот раз, выйдя от больной, московский маг и волшебник "ничего определенного не сказал", — очевидно, зная, что конец близок и неизбежен, и маленький Вася с сестрой решили прибегнуть к другому средству: отправились к чудотворной иконе Спаса на Остоженке. Мать учила их, что чудеса происходят ежедневно, хотя люди их и не замечают, или "объясняют по-своему". Мать ут-

верждала, что действительно, как сказано в Писании, можно гору сдвинуть с места, если верить в это: значит, если помолиться как следует, мать выздоровеет, что бы ни говорил Захарьин! Но она умерла.

Тогда у мальчика явилась другая мысль, — та самая "дерзновенная" мысль, которая в известном рассказе Леонида Андреева охватывает больное сознание о. Василия Фивейского: воскресить умершую. Христос воскрешал мертвецов, следовательно Его всесильным именем можно и теперь сделать то же самое. Но "опыт способности творить чудеса у гроба" — как пишет Маклаков — мальчику произвести не удалось. На отпевании в переполненной церкви он чего-то испугался или растерялся, и впоследствии долго укорял себя за малодушие. Хочется добавить: растерялся он к счастью. Юную и несомненно очень впечатлительную натуру "опыт творить чудеса у гроба", с преодолением естественной детской застенчивости, с шумом и смятением, которые должны были возникнуть среди собравшихся, мог бы потрясти до основания. Да и самая неудача "опыта" должна была бы мальчика сильно смутить.

Алексей Николаевич, отец Маклакова, был совсем другим человеком, чем мать. Ни богатства, ни влиятельных родственников у него не было, он всего добился сам. В. А. скромно замечает, что "не может судить о положении, которое отец занимал в медицине и обществе", но по дальнейшему его рассказу, как и по другим сохранившимся свидетельствам, Алексей Николаевич был в Москве "фигурой", "персоной", может быть и не из самых видных, однако все же заметной и всеми уважаемой. По образованию он был медиком, хотел стать хирургом, но еще студентом поранив руку, стал глазным врачом, позднее

— профессором Московского университета. В те времена медицина и религия в ладу жили редко, и едва ли отец Маклакова был человеком верующим. Но и распростаненная среди его поколения базаровская уверенность в возможности общедоступного, материалистического объяснения бытия осталась ему чужда.

Однажды подросток-сын рассказал ему о разговоре с гимназическим товарищем, сообщившем о последнем научном открытии: мир будто бы начался с появления раскаленного шара.

— А ты что ему сказал?

— Я спросил, откуда же появился этот шар?

Алексей Николаевич пришел в восторг.

— Правильно, правильно... Вот и остался он в дураках!

В другой раз, во время пасхальной заутрени, прислушиваясь к звону бесчисленных московских колоколов, Алексей Николаевич задумчиво сказал: "Нет, за этим что-то есть!"

Он был человеком средних взглядов, в меру либералом, в меру консерватором, безо всякой принципиальной предвзятости, и даже будто бы, — как иронизировал его отец, т. е. дед Василия Алексеевича, — "восхищался Катковым". Правда, Катков был его пациентом, и вероятно только близкое с ним знакомство побудило Алексея Николаевича относиться к этому политически-одиозному для всех либералов публицисту иначе, чем в его среде было принято. Но несомненно либерализм Алексея Николаевича был больше похож на благодушную веру в прогресс, в права человека и гражданина, в культуру, а заодно с этим, конечно, и в природные душевные добродетели русского мужика, чем на сочувствие революци-

онному движению, приведшему к 1-го марта. Он был верен духу эпохи Великих Реформ, для России мечтал об эволюции, никак не о революции, и — замечу мимоходом, — эту свою мечту, это убеждение передал сыну. 1-го марта его ужаснуло, а то, что последовало за этим роковым в русской истории днем, уничтожило у него и его друзей последние политические иллюзии. Маклаков пишет, что этому поколению либеральной общественности пришлось "спасать то, что еще можно было спасти", не только от правительственной реакции, но и от "зародившегося уже тогда революционного тоталитаризма", — и относится это ко времени Александра III и к первым годам царствования Николая II. (Кстати, опечатка это в "Воспоминаниях", или умышленно Маклаков называет Николая II Несчастным, с прописной буквы, будто присваивая ему в истории этот эпитет, как пишут с большой буквы Грозный или Великий? Было бы для характеристики Василия Алексеевича в самый последний период его жизни любопытно это выяснить).

Но отец Маклакова не дожил до тех времен, когда борьба обострилась. Он умер в 1895 г. от эндокардита, "который тогда не умели лечить". Не всегда умеют и в наши дни.

В гимназию мальчик был отдан еще при матери, вопреки ее желанию воспитывать его дома. На гимназии настоял отец, опасавшийся для своих детей воспитания "тепличного", и В. А. в этом полностью на его стороне. Но о самой гимназии — Пятой Московской классической — сохранил он воспоминания тяжелые, подчеркивая, что учился в худшие, самые реакционные толстовско-деляновские годы, когда практиковалась "дрессировка" юных умов. Эту

“дрессировку” он даже уподобляет тому, что делается теперь в СССР, хотя и оговаривается, что тогда были цветочки, а теперь — ягодки. Но “система была та же самая”.

“Классическая гимназия во время реакции 80-х годов имела задание — формировать новую породу людей, т. е. то, что теперь откровенно делают в Советской России”.

Молчалинский лозунг — “не сметь свое суждение иметь” — был идеалом и целью сухого, бездушного образования.

Особенно удручительна была постановка преподавания древних языков. Казалось бы, задача этого преподавания — раскрыть перед юными умами сокровищницу античной культуры. Но именно этого-то учителя и избегали. Грамматика, грамматика, правила, исключения, неправильные глаголы, ничего, кроме этого: тексты читались и изучались исключительно для уяснения грамматических тонкостей. Никто не умел говорить по-латыни или по-гречески, никто не стремился этого достичь: надо было знать только грамматику. Зачем, с какой целью? Самый вопрос этот, если бы кто-нибудь решился его задать, был бы воспринят, как крамольное вольномыслие и мог бы иметь соответствующие последствия. Маклаков грамматику изучил в совершенстве, выпускная его работа по латыни была признана в Округе “не только относительно лучшей, но безусловно отличной”, однако из-за своего беспокойного, несговорчивого нрава, из-за постоянных выходок и шалостей был он у гимназического начальства на дурном счету и в Университет оказался допущен не без затруднений. Был и лишен золотой медали, по успехам в науках ему полагавшейся.

По окончании гимназии будущие студенты обязаны были указать, какой они выбирают в Университете факультет. Самым популярным факультетом, куда шло большинство гимназистов, был юридический, и объясняется это повидимому тем, что законоведение и изучение форм общественной жизни оставались вне сферы мертвящего гимназического преподавания, и именно в силу этого притягивали. Грамматика вместе с историей по Иловайскому отбивала заранее всякое влечение к факультету историко-филологическому. Однако Маклаков выбрал естественный факультет, отвергнув юридический, чтобы "не следовать моде", а филологический — чтобы "не доставить удовольствия гимназическому начальству", ждавшему от него именно такого решения.

Университет далеко не сразу оправдал те надежды, которые Маклаков с ним связывал. Юноша ждал не того.

Преподавание показалось ему сухим, мало чем отличающимся от гимназического, — хотя в такой оценке и сыграла может быть роль отсутствие у Маклакова подлинного интереса к естествознанию. Не случайно ведь самый выбор факультета он называет "бессознательным". Однако в те годы перед русскими естественниками стоял вопрос, всех волновавший, даже и людей к науке равнодушных: прав или не прав Дарвин? Данилевский — тот самый Н. Я. Данилевский, которому в истории русской мысли обеспечено почетное место, как автору книги "Россия и Европа", — будто бы Дарвина опровергнул. Известный литературный критик Страхов, страстный анти-дарвинист, как впрочем и все тогдашние традиционно-религиозные и консервативно настроенные люди, поднял вокруг этого "опровержения" шум (кстати, можно

вспомнить, что незадолго до этого, и приблизительно с той же запальчивостью Писарев опровергал Пастера!) Маклаков ждал, что профессора естественного факультета на полемику откликнутся, разъяснят молодежи, на чьей стороне истина. Но профессора невозмутимо толковали о позвонках, о строении цветка, а все остальное считали не своим делом.

Университетская атмосфера тогда была не той, какую Маклаков ждал. Он вспоминал лермонтовские строки о Московском университете, этом "святом месте", вспоминал Рудина, студенческие кружки, бесконечные ночные чаепития со спорами, "о Боге, о бессмертии, о душе, о вселенной", порывистые юношеские речи, — и не находил вокруг себя ничего похожего. "А ведь Лермонтов" — пишет он — "был в Университете в его худшую пору, в николаевские годы".

Исторически это утверждение не совсем верно, и сравнение с лермонтовскими временами не могло к разочарованию не привести. Каково бы ни было общее положение страны и государства в николаевские годы, именно Московский Университет был в нем оазисом. Петербург после разгрома декабристов притих, гвардия перестала быть средоточием культуры и вольномыслия. Центром сделалась далекая Москва, в частности Московский Университет. Имена Гегеля и Шеллинга кружили головы молодежи, и об этом у Лермонтова, у Тургенева, а в особенности у Герцена, сохранились достаточно красноречивые свидетельства. Если даже политические интересы в те годы и ослабели, если влияние Франции и уступило первенство влияниям германским, — приведшим иных доверчивых и философски-малограмотных мечтателей к стремительному оправданию "всего действительного", —

то все же худшей порой для Московского Университета это время назвать нельзя, и при воспоминании о нем восьмидесятые, маклаковские годы неизбежно должны были показаться тусклыми и пустыми.

Устав 1884 года, обрадовавший Каткова, был показателен для нового правительственного курса. Однако, только старшие студенты были им искренне возмущены. Новички ничего особенно тягостного в нем не находили, а если и протестовали, то сами не зная хорошенько, против чего именно. Маклаков принадлежал к новичкам, на словах фрондировал, но вместе с тем оценил и сравнительную свободу, которую после гимназии давал Университет. Обязательное ношение формы, запрещение "всякой деятельности, носящей корпоративный характер", — все это его не очень угнетало. Но и ничего увлекательного он в университетской жизни не видел.

В 1886 году Университет посетил Александр III. Студенты встретили царя восторженно, и Маклаков подчеркивает, что "прием не был подстроен". Конечно, не все студенчество в несколько лет переродилось и изменилось, но та часть его, которая бросала в воздух фуражки и кричала "ура", — а императрице поднесла букет ландышей, вскоре ставших эмблемой политической "благонадежности", — эти студенты выражали настроения, начавшие быстро распространяться. Перебила их нашумевшая "брызгаловская история".

В двух словах сводится эта история к следующему: Брызгалов, человек тупой и строгий, усердно проводивший "новые порядки", занимал в Университете должность инспектора. Из числа студентов, носивших в петлице ландыши, он составил хор и оркестр, раз или два в год дававшие концерты. На од-

ном из этих концертов к Брызгалову подошел какой-то студент, — без ландыша, — и дал ему пощечину. Студента судили, приговорили к трем годам дисциплинарного батальона. В Университете начались волнения. Маклаков оказался в них замешанным.

Насколько все тогда происходившее было идиллическим в сравнении с тем, что бывало позднее, — не говоря уже о временах наших, — можно судить по эпизоду с московским полицмейстером Огаревым.

К студентам, толпившимся на улице перед университетскими зданиями, подъехал в санях полицмейстер и предложил разойтись. Маклаков крикнул: "Пока вы не уберете полицию, мы не разойдемся!" Огарев обратился к двум городовым: "взять его!"

"Меня взяли под руки, подвели к саням и посадили рядом с Огаревым. Толпа стала что-то кричать, но лошади тронулись, и Огарев поехал со мной по Моховой среди стоявших шпалерами войск Когда мы выехали из оцепления, он меня спросил: "Где вас ссадить?" Я сказал: "Отпустите меня здесь, я хочу вернуться в Университет". — "На это не надейтесь, вас не пропустят. А где вы живете" — "На Тверской". — "Я на углу ее вас и спущу... А как ваша фамилия?" Я сказал.— "Вы сын Алексея Николаевича?" — "Да". — "Ну, так идите домой и скажите от меня отцу, чтобы он вас завтра из дому не пускал".

Маклаков настойчиво подчеркивает, что в тогдашних студенческих беспорядках политика не играла почти никакой роли. Студенты на политику "не реагировали", по крайней мере те студенты, с которыми Маклаков встречался и дружил. Они видели в Синявском, давшем Брызгалову пощечину, героя и мученика, требовали его освобождения, заодно тре-

бовали отмены устава 1884 года, но дальше этого не шли.

В общественную деятельность Маклаков втянулся несколько позже, в связи с образованием землячеств. Студентам, как "отдельным посетителям" Университета, всякие объединения были запрещены, но запрещение это обходилось, а после брызгаловского инцидента в университетской жизни наступило и некоторое облегчение. В отстаивании землячеств впервые обнаружилась общественная "жилка" Маклакова, а когда он, будучи уже на третьем курсе, отправился с отцом в Париж, этой его природной склонности был дан сильнейший толчек.

Шел 1889 год. В Париже была Всемирная Выставка, с невиданным, всех поражавшим чудом — Эйфелевой башней. Маклаков без колебаний говорит, что месяц, проведенный им тогда в Париже, был "счастливейшим временем" его жизни. Но не обычные парижские развлечения имеет он в виду, а знакомство со страной, в которой все было для него ново и неотразимо привлекательно. Свобода печати, митинги и собрания, возможность открыто говорить что угодно, бесцензурные афиши на стенах: казалось, он очутился на другой планете. Еще в России он слышал, что надо будто бы присутствовать на парижских улицах при общем пении Марсельезы, чтобы почувствовать, что такое истинная демократия: удалось и это. Время было довольно беспокойное, Франция разделилась на сторонников и противников генерала Буланже, шли выборы, и одно из предвыборных собраний и закончилось Марсельезой, пропетой сотнями голосов. Маклаков чувствовал себя приблизительно так же, как тот студент, который стоит по колено в воде бурной реки на знамени-

той — и надо признаться, довольно таки нелепой, — репинской картине: "Какой простор!"

Он тогда едва начинал увлекаться вопросами общественной жизни. Но Франция в один месяц сделала для его развития то, чего и в несколько лет не достиг бы он в России. Праздновалось столетие Революции, историки и политические деятели подводили окончательные итоги тому, что она дала, стремились к беспристрастному ее анализу и оценке. Маклаков, изучая исторические события, вдумывался в их смысл и ход, читал книги, которым в Россию доступа не было. С этого времени возник у него культ Мирабо, культ для него очень характерный, — тем более, что остался он ему верен до старости. Василий Алексеевич — это могут, вероятно, подтвердить все близко знавшие его люди, — не только отзывался о Мирабо, как о величайшем из ораторов, не только мог и в последние годы жизни цитировать наизусть отрывки из его речей и называл себя его учеником, но и считал единственно правильной основную политическую линию Мирабо: сговариваться с властью, проводить законным путем то исторически-необходимое, что иначе, без этого, ломая законы и устои, все уничтожая на своем пути, сделает революция. Оценка русских политических деятелей и событий предшествовавших лет у Маклакова именно этим и вызвана. Он несомненно считал русским историческим несчастьем то, что у нас не нашлось своего Мирабо, столь же смелого и прозорливого, как Мирабо подлинный, но более удачливого в завершении взятого на себя дела.

Однако больше всего интересовали московского студента быт и работа его парижских сверстников. Случайно, не надеясь на особо благоприятный ре-

зультат, зашел он в помещение Парижской Ассоциации студентов, — и нашел именно то, чего смутно ждал и о чем мечтал давно. Здесь не было "отдельных посетителей Университета", здесь была сплоченная семья, коллектив, причем государственная власть не только не препятствовала объединению молодежи, но и поощряла его. Студенты никаких "революционных авантюр" не искали, все в их деятельности было легально, и в этом они сами видели доказательство своей зрелости. Маклаков невольно сопоставил их жизнь, работу и деятельность с тем, что видел в России, и задумал наладить между Москвой и Парижем связь. На следующее лето предстоял общестуденческий съезд в Монпелье, и по предложению Ассоциации на съезд этот приглашена была и делегация от русских студентов.

Вернулся Маклаков в Россию возбужденным, полным надежд и проектов, а также с вещественным свидетельством новых своих увлечений — коллекцией портретов революционных деятелей, начиная с Мирабо. Несколько отрезвило его то, что на границе все эти портреты у него отобрали.

Мысль о сближении с международным студенчеством встретила в Университете сочувствие, впрочем не вполне единодушное. Некоторые считали, что русское студенчество должно остаться чем-то вроде "политического фермента" и что в этом его миссия, чуждая, даже непонятная, студенчеству западному. Во всяком случае вопрос должен был быть передан на широкое общественное обсуждение, и с этой целью Маклаков написал статью "Парижская Студенческая Ассоциация", которую отнес в редакцию "Русских Ведомостей". Статья была напечатана, однако сильно сокращена и сглажена. Это было на-

чалом литературной деятельности Маклакова, — и как курьез или иронию судьбы он вспоминает, что вопреки намерению друзей, ни двадцатипятилетний свой литературный юбилей, ни полувековой ему праздновать не удалось: первый пришелся на 1914 год, второй — на 1939. О каких-либо празднествах и чествованиях в оба эти года не могло быть и речи.

17 Октября 1889 года скончался Чернышевский. Для почти всего маклаковского поколения имя это было уже "историей", но популярность и мученический свой ореол оно еще хранило. Правительство, и в частности московские власти, стремились к тому, чтобы о смерти Чернышевского говорилось и писалось как можно меньше. Молодежь ответила решением, казалоь бы невинным, — отслужить панихиду по рабе Божием Николае. Но панихида привлекла сотни студентов и сама собою перешла в некую "демонстрацию". К тому же произошел инцидент с проф. Тимирязевым, заподозренном в сочувствии к ее зачинщикам, и в результате человек десять студентов были вызваны к попечителю округа Капнисту для отеческого внушения и выговора.

Рассказывая об этом приеме шестьдесят лет спустя, Маклаков горько упрекает себя и своих товарищей в том, что они не почувствовали и не оценили, каким благожелательным и мягким человеком был Капнист, а предпочли издеваться над ним, как над заведомым врагом, и высмеивать неудачные выражения в его речи. "Многого мы тогда не понимали и не умели учесть". Капнист пожурил студентов, напомнил, что как никак Чернышевский был государственным преступником, а Маклакову сказал:

"Вас я пригласил специально из-за вашего тем-

перамента. Нужно, чтобы вы прежде думали, а действовали только потом. Учитесь управлять собой раньше, чем может быть вам придется управлять другими".

На следующий год в Москве опять возникли беспорядки, на этот раз в связи с закрытием Петровско - Разумовской Земледельческой Академии Маклаков, носившийся с мыслью о создании легальной студенческой организации по образцу парижской Ассоциации, был ими встревожен, боялся, что они помешают осуществлению его намерения, и принялся уговаривать студентов остаться в стороне от начавшихся волнений. На импровизированной сходке на него набросились сторонники "солидарности", поднялся шум, явились войска, — и в результате все собравшиеся были арестованы.

В Бутырской тюрьме молодые узники были уверены, что Москва возмутится, вступится, не допустит "вопиющего беззакония". Оказалось, город совершенно спокоен. Отдельные горячие головы предлагали обратиться к правительству с "категорическими требованиями". Люди более уравновешенные, — Маклаков в их числе, — понимали, что правительство на "требования" даже не ответит. Страсти начали разгораться, отчасти от соседства с политическими заключенными. Однако Маклаков еще раз настойчиво указывает, что было сочувствие лишь к смелости, к самоотверженности революционеров, к тяжелой их судьбе, но не к самой их деятельности. "Если были среди нас люди других, более серьезных настроений, их было так мало, что они не выявлялись. Вероятно, на нас они смотрели с большим сокрушением". Арест длился однако не долго, всего пять суток. Маклаков оказался уволенным из Уни-

верситета, но лишь до ближайшей осени, и с правом обратного поступления.

Мечты о поездке в Монпелье во главе студенческой делегации рушились: уволенный из Университета студент не получил бы нужных для этого полномочий. Но заграницу Маклаков все-таки поехал, — правда — под надзором второй жены отца, урожденной Королевой, человека просвещенного, писательницы, один из рассказов которой, напечатанный в "Вестнике Европы", был одобрительно отмечен Тургеневым. Алексей Николаевич повидимому боялся увлечений сына, опасался вспышек его "темперамента", — как сказал Капнист, — и рад был вырвать его хотя бы на время из беспокойной студенческой среды. Маклаков с мачехой побывали в Париже, потом отправились в Швейцарию, где бывший студен познакомился, и, несмотря на разницу в возрасте, даже подружился с Элизэ Реклю, знаменитым географом и анархистом, а в Москву вернулся с твердым намерением бросить естественный факультет с тем, чтобы поступить на Исторический или Юридический. Но его ждал удар: распоряжением двух министров, Внутренних Дел и Народного Просвещения, он был по политической неблагонадежности исключен из Университета без права поступить в какое бы то ни было другое высшее учебное заведение.

Отец Маклакова бросился к попечителю Капнисту, который, к несчастью, постигшему слишком "темпераментного" юношу, отнесся вполне сочувственно, а оттуда — в Петербург. Министр Народного Просвещения Делянов ничего о случившемся не знал и заявил Алексею Николаевичу, что с его стороны препятствий к отмене распоряжений нет, посоветовав

однако обратиться к Дурново, директору Департамента полиции. Дурново был осведомлен не больше Делянова, а наведя справки, сказал, что и с его стороны препятствий нет, "если попечитель за вашего сына ручается". Удар оказался не страшным.

Много позднее Маклаков при посредстве Витте познакомился с Дурново, тогда уже отставным Министром Внутренних Дел. Было это в Виши. Разумеется, Дурново не помнил о давнем и сравнительно мелком университетском деле, но заметил, что подобные меры принимались нередко "для острастки", "чтобы другим не повадно было". Если были связи, влиятельные знакомства, мера большей частью отменялась. Без связей дело было безнадежно.

На Маклакова слова Дурново произвели впечатление. "Это был наглядный урок для оценки режима и понимания того, почему позднее у него не оказалось защитников".

Экс-естественник перешел на факультет Исторический, славившийся составом профессоров. По требованию Капниста он должен был отказаться от всякой организаторской и общественной работы. Кое в чем однако условие это Маклакову удалось обойти.

В Университете существовала одна только организация, вполне легальная, находившаяся вне подозрений: бывший брызгаловский "хор и оркестр". Но Брызгалова больше не было, новый инспектор оказался человеком добродушным и либеральным, и при его попустительстве этот музыкальный кружок можно было легко преобразовать. Для управления им была учреждена Хозяйственная Комиссия, которая на деле стала чем-то вроде общественного представительного органа. Голод, разразившийся зимой 1891

года, всколыхнул всю Россию и отразился и на университетской жизни.

Обычно концерты "хора и оркестра" давались в пользу неимущих студентов. Однако на этот раз в Хозяйственной Комиссии возникла мысль иная: отдать весь сбор в пользу голодающих. Но голоса разделились, многие были недовольны, и для окончательного постановления было созвано общее собрание, заранее вызвавшее среди студенчества огромный интерес. На этом многолюдном собрании Маклаков произнес первую в своей жизни политическую речь.

Успех он имел такой, что возражать ему никто не решился. "На другой день я по всему Университету был прославленным оратором". Отстаивал Маклаков решение в пользу голодающих, и принято оно было почти единогласно. Концерт прошел удачно. Великий Князь Сергей Александрович, новый московский генерал-губернатор, прислал с адъютантом 50 рублей за свое кресло и 1.000 рублей для студентов, подчеркнув этим, что оценил их бескорыстный почин. Сбор был передан в официальный комитет под председательством Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Словом, все проведено было в рамках легальнейших и в духе самом благонадежном.

Однако, студенты все-таки проявили некоторую инициативу. В данном случае они не были "отдельными посетителями Университета". Стремление к корпоративности опять дало себя знать. Кому-то на верхах это не понравилось, тем более, что в связи с голодом в стране началось общественное оживление, постепенно усиливавшееся и углублявшееся. Правительство уловило изменение настроений и счи-

тало необходимым вернуть общество к безмолвию и спячке. Университеты, как рассадники вольномыслия, должны были быть в первую голову взяты под наблюдение, а для этого надлежало упразднить всякие "организации", как бы благонадежны они ни были. Концерты прекратились.

Изменилось настроение и в студенческой среде: усиливалось политическое недовольство, медленно, но верно росло возбуждение в связи с общим положением дел в стране. Стремления Маклакова к легализации студенческой деятельности, к утверждению землячеств, к общению со студенчеством заграничным, встречали сопротивление. Он и его друзья будто бы охлаждали революционный пыл молодежи. Против их деятельности, против всех тех идей и принципов, которые они представляли, повел в числе прочих борьбу Чернов, будущий председатель Учредительного Собрания. Маклаков пишет, что лично он его в Университете не помнит, но резко и страстно критикует Чернова-студента по его мемуарам ("Записки социалиста-революционера"), в которых находит оправдание и возвеличение претензий меньшинства, будто бы передового, на власть и руководство. Эта-то "идеология и привела к большевизму", утверждает он; "тогда мы этого не понимали... Все это сделалось ясным потом, когда весь процесс развился до конца".

Здесь, в связи с критикой черновских взглядов, у Василия Алексеевича в "Воспоминаниях" вырвалась фраза, любопытная, как признание, и бросающая свет на многие его сомнения последних лет.

"Проблема несогласия большинства с меньшинством для меня и сейчас представляется самой важной для демократии".

Без преувеличения можно сказать, что для Маклакова эта "проблема" была своего рода проклятым вопросом: в сущности, она представлялась ему проблемой насилия.

Учителем и руководителем Маклакова на Историческом Факультете был проф. П. Г. Виноградов. "Он чуть не сделал меня историком", дважды говорит Василий Алексеевич в своих воспоминаниях, — а если не сделал, то не по своей вине, и даже не по недостатку интереса к научному исследованию у самого Маклакова, а по вражде нового попечителя округа Боголепова. Виноградов представил Маклакова к оставлению при Университете, "для подготовки к профессорскому званию", согласно установленной формуле. Боголепов ответил: "пока я попечителем, Маклакову кафедры не видать". Отказ последовал из-за репутации кандидата, Боголепову лично известного, и которого он однажды кратко, но выразительно охарактеризовал, как "подвергавшегося". Виноградов обнадеживал Маклакова: "Такой дурак, как Боголепов, долго попечителем не пробудет". Предсказание оправдалось, но в несколько иной форме, чем думал Виноградов: дурак был назначен Министром Народного Просвещения.

Русской историей Маклаков специально не занимался. У Ключевского он бывал только как случайный, а не постоянный его слушатель. Но лекции знаменитого историка он называет "несравнимыми ни с чем", не столько по самому их содержанию, о котором не судит, сколько по мастерству и блеску изложения, по самой манере чтения. Язык Ключевского

он характеризует, как "исключительный по силе, оригинальности и красочности".

Это, разумеется, верно, и возражать против этого было бы смешно. Маклаков совершенно прав, утверждая, например, что автора статьи о Лермонтове "Грусть", помещенной в "Русской Мысли" и Ключевским почему-то не подписанной, можно было узнать сразу, с первых строк. Прав он вероятно и в том, что слушать Ключевского было "наслаждением". Все же я позволю себе сделать тут небольшое отступление и заметить, что со стороны Маклакова такая безоговорочная оценка Ключевского, как стилиста, несколько неожиданна. По рассказам друзей Василия Алексеевича известно, впрочем, что, случалось, он выражал суждения традиционные и общепринятые, будто заранее отбрасывая всякий повод к возникновению спора, для него скучного или нежелательного, а потом, в кругу более тесном, признавался, что о том-то промолчал, и там-то точек на "i" не поставил. Не отразилось ли нечто подобное и в его словах о Ключевском?

Ключевский писал очень хорошо, и бесспорно, как писатель, он богаче и сильнее Маклакова. Но зато Маклаков писал просто, стилистически-непринужденно, заботясь лишь о том, чтобы мысль была убедительно и ясно выражена, Маклаков пренебрегал словесным нарядом "как таковым", — а у Ключевского усилье, стремленье блеснуть и удивить оригинальным оборотом речи, заметно чуть ли не в каждой фразе. В конце концов Ключевский писал "слишком хорошо", и это "слишком", это "черезчур" мешает его стилю достигнуть высот подлинных, — совершенно так же, как франт, одетый с подчеркнутым, бросающимся в глаза вниманием к

каждой мелочи своей внешности, грешит против доброго вкуса. Не стоило бы, и даже не было бы оснований, об этом говорить, если бы не одно обстоятельство: Маклаков был близок к Толстому, и, как он сам говорит, "Толстой вошел в его жизнь". Язык Толстого никогда не бывал условно-блестящим, язык Толстого оживлен только изнутри, откуда и вся сила его, действительно "несравнимая ни с чем", при чудовищных нагромождениях одного придаточного предложения на другое и ломке грамматики. Маклаков, как мало кто другой, это чувствовал, он кое что по части "анти-красивости" у Толстого перенял, особенно в ораторском мастерстве, то есть главном своем деле. А Толстой ведь сказал о Ключевском — не знаю только, помнил ли это Маклаков — "профессор со штучками"!. С толстовских высот самые прославленные, самые эффектные словесные ухищрения Ключевского были всего только "штучками". Маклаков вероятно с этим согласился бы: все, им написанное и сказанное, а в особенности то, **как** все это написано, **как** было сказано, к такому согласию приводит. Но в воспоминаниях своих он ограничился обычной данью восхищенья и никаких других замечаний не сделал.

Крайне любопытен, между прочим, его рассказ о том, как студенты просили Ключевского принять участие в вечере памяти Некрасова, к пятнадцатилетию со дня смерти поэта. Ключевский согласился. Но узнав, что вечер состоится через месяц, удивленно поднял брови: "Как через месяц? Да разве можно приготовиться к лекции в один месяц?" Некрасова он знал, читал. любил. Несомненно, не самые мысли о некрасовском творчестве затрудняли его: нет, затрудняла "чеканка" формы, в которую предстояло

мысли облечь. Курс русской истории он читал из года в год тот же самый, без малейших изменений. Чеканка была произведена раз навсегда. Но публичная лекция о Некрасове должна была по представлению Ключевского быть таким же стилистическим шедевром, а отделка ее требовала не меньше полугода.

Виноградов не был так блестящ, как Ключевский, может быть не был и столь даровит. Но Маклаков называет его "идеальным университетским преподавателем" и в этом отношении ставит его выше всех известных ему университетских профессоров. Огромные знания, память и научное творчество — вот те черты Виноградова, которые были исключительно ценны, притом — не в пример Ключевскому — главным образом в семинариях, где каждого студента он приучал к научной самостоятельности. Маклаков оправдал доверие и надежды своего учителя, представив ему в конце пребывания на факультете работу по довольно сложному вопросу, подробно говорить о котором здесь не к чему. Речь шла о новонайденном сочинении Аристотеля и, в связи с ним, о значении избрания в Афинах должностных лиц по жребию. Реферат Маклакова оказался настолько смелым, и вместе с тем настолько глубоко продуманным, что Виноградов принял его поправки к трудам двух авторитетнейших иностранных историков и внес их в свой курс.

Но благодарность и уважение, внушенные Виноградовым Маклакову, основаны не только на руководстве научном. Он говорит о своем учителе, как о человеке духовно-близком, и вкладывает в слово "европеец", которым его характеризует, особый смысл. Как известно, Виноградов из Московского

Университета был приглашен в Оксфорд, где и провел долгие годы.

Маклаков пишет:

"Ему, с его взглядами, с его европеизмом, было нелегко жить в России. Если мы не можем себе представить Ключевского вне России, то Виноградов гораздо лучше виден в Европе. Ему трудно было ужиться в России не только с правительством, но и с нашей общественностью. Он слишком хорошо знал Европу, был слишком подлинным европейцем, чтобы не понимать, что неудачи и беды России происходят не только по вине нашей власти, но и по неподготовленности, несерьезности нашего общества. Освободительному движению с конечными его идеалами он не мог не сочувствовать, но он понимал, что "дело веков исправить не легко", что одна "свобода" и "народоправство" не могут сразу исцелить Россию от тех привычек, которые ей привил наш неразумный абсолютизм. Виноградов не разделял увлечений кадетской программы... Он не без иронии относился к максимализму наших политических партий, к их претензиям ввести сразу все последние слова европейских демократий. Надо же оставить что-нибудь и для будущих поколений, — шутил он".

На русском политическом жаргоне человек таких взглядов и настроений определялся, как "постепеновец" (слово, встречающееся впрочем уже у Тургенева). "Постепеновщине" виноградовского склада был верен и Маклаков, и чем старше он становился, тем сильнее в этом своем убеждении укреплялся.

"Виноградов чуть не сделал меня историком".

Маклаков признается однако, что если преподава-

ние в Университете, — а в дальнейшем профессорская деятельность, — его и привлекали, то главным образом, как возможность “близкого общения с людьми и воспитания новых поколений”. Не прегради ему Боголепов дорогу, он предложение Виноградова вероятно принял бы. Однако ученым кабинетного типа все же не сделался бы. “Искание истины ради ее самой” было ему не совсем по душе.

С Университетом было покончено, пришлось отбывать воинскую повинность. Маклакова это не пугало: его родственник, или вернее свойственник, генерал Суражевский, устроил его на правах вольноопределяющегося в один из полков своей бригады. Стояла бригада в глухом уездном городке Ростове, Маклаков у Суражевских столовался, а генерал был в городе первым лицом и молодому человеку покровительствовал. Военная служба в таких условиях давала немало свободного времени, Маклаков мог читать, работать, пополнять свое образование.

Весной 1895 года умер его отец. Это было концом прежнего беззаботного существования. Семья должна была оставить просторную казенную квартиру в Глазной лечебнице, где Василий Алексеевич родился, финансовое ее положение было неясно, надо было впервые в жизни думать о заработке. Где искать его? Давать уроки истории? Стать учителем гимназии? Маклаков был по природе человеком широкого размаха, притом уже избалованным успехами, уже втянувшимся в общественную деятельность, хотя бы и ограниченную студенческой средой, — чем могла бы его прельстить скромная педагогическая карьера?

Неожиданно для всех, а может быть больше всего для самого себя, он решил стать адвокатом.

В течение долгой своей жизни Василий Алексеевич не раз об адвокатуре писал или говорил, высказывая о ней суждения противоречивые. Случалось ему подрывать самые основы и принципы адвокатской деятельности, исподволь внушая недоверие к ее представителям. Об этом речь дальше. Однако на склоне лет, повидимому взвесив все "за" и все "против", он сделался убежденным апологетом своей профессии и готов был от прежних своих нападок отречься. Самое решение стать адвокатом он объясняет не только необходимостью заработка, но и соображениями иного, более высокого порядка.

Как знать, не приписал ли восьмидесятилетний старик совсем еще юному человеку, каким был Василий Алексеевич в то время, мысли и чувства, тогда ему чуждые? Соблазн такого предположения был бы велик, если бы годы, в которые Маклаков решил стать адвокатом, не располагали и менее чутких, менее порывистых людей к стремлению сочетать деятельность со служением. Только что умер Александр III; на молодого царя вся Россия возлагала огромные надежды. Даже Родичев, к низкопоклонству и угодничеству никак не расположенный, воскликнул на собрании Тверского земства:

"В настоящее время вся наша надежда, наша вера в будущее, наши стремления обращены к Николаю II; Николаю II — ура!"

Надежды были безотчетны. Однако и по логике истории — чаще заставляющей внуков следовать за дедами, чем сыновей продолжать дело отцов, — казалось более вероятным, что Николай II вернется к традициям эпохи Великих Реформ. Ему это легче было сделать, чем Александру III, поскольку его либерализм не был бы истолкован, как уступка раз-

бушевавшимся общественным силам. Общественные силы давно уже, чуть ли не сразу после 1-го марта, присмирели и умолкли. Либерализм мог предстать, как свободная инициатива нового царя.

Но с высоты престола раздался окрик: "бессмысленные мечтания". Надеждам как будто не осталось ни места, ни основания. Однако оживление, наметившееся еще в связи с голодом 1891 года, коренилось слишком глубоко, исторически оно было слишком естественно и даже неизбежно, чтобы можно было его сразу, одним "слабым манием руки", прекратить. Общество "кипело", как выражается Маклаков. При мысли о возможности непосредственного, практического участия в упорядочении и усовершенствовании форм русской общественной жизни "вскипел" и он сам.

"Мой короткий жизненный опыт, — пишет Маклаков в "Воспоминаниях", — открыл мне, что главным злом русской жизни является безнаказанное господство в ней произвола, беззащитность человека против усмотрения власти, отсутствие правовых оснований для защиты себя. Не даром, по шутливому выражению М. П. Щепкина — "ссылка на закон в глазах нашей власти есть первый признак неблагонадежности", хотя наш Свод Законов и утверждал, что Россия управляется на твердом основании законов, хотя и была судебная власть, которая законы должна защищать и учреждения, которые в этом должны были ей помочь. Защита человека против беззакония, иначе говоря защита самого закона и была содержанием общественного служения адвокатуры.
держанием общественного служения адвокатуры.
Свою задачу она должна была ставить именно так. Я невольно припоминаю споры, когда говорили об

адвокатской карьере. Большая публика была к ней несправедлива, думала, что ее задача — служить интересам клиентов, и не хотела понять, что если она им служит, то только постольку, поскольку эти интересы находятся под защитой закона и права. **В былое время и я разделял это предубеждение против нее.** (Подчеркнуто мной. Г. А.). Однажды я ее формулировал так; у адвоката множество "дел", но нет "дела". Опыт научил меня, насколько я был в этом неправ. Напротив, у адвоката есть одно "дело", которое по обстоятельствам только принимает различные конкретные формы, но во всех случаях он защищает законность. Закон может быть несправедлив — это правда. Долг адвоката это показать, но не в его власти это изменить. Да и суд не может излагать своей воли. Он может только объявить, что фактически есть и чего требует закон. Суд толкует законы, но он не может их так толковать, чтобы они противоречили праву. Право же есть норма, основанная на принципах одинакового порядка для всех. В торжестве "права" над "волей" сущность прогресса. В служении этому — назначение адвокатуры".

Строки эти чрезвычайно характерны для Василия Алексеевича, каким он был на склоне лет и важны для его понимания.

Но одного желания "служить" было мало. Для "служения" надо было иметь юридическое образование и соответствующий диплом.

О том, чтобы после естественного и историче ского поступить еще на третий, юридический факультет, Маклаков не хотел и думать. К счастью для него в то время разрешалось держать государственные экзамены экстерном, однако с одним условием: для получения диплома надо было сдать и все про-

межуточные, курсовые испытания. Маклаков решил подготовиться и к тем, и к другим в один год. Весной предстояла коронация. В Университете все были уверены, что в связи с коронационными торжествами экзамены будут отложены на осень, и это было бы Маклакову на руку, т. к. дало бы ему на подготовку три-четыре лишних месяца. Но случилось то, чего никто из профессоров и студентов не ждал: экзамены, обычно производившиеся в мае, именно в связи с коронационными празднествами были назначены на март. Отступать поздно, — сказал себе Маклаков, — буду готов к марту!

Он обстоятельно рассказал об этом периоде своей жизни, напряженном и в сущности счастливом, когда даже в комнате у него был вывешен плакат: "Гостей прошу больше двух минут не сидеть". Рассказал о лихорадочной, возбужденной работе, о беседах со старшими товарищами и профессорами,— из которых некоторые считали его претензию сдать за один год все экзамены "неуважением к юриспруденции", — о приемах, расчетах и даже хитростях, к которым ему пришлось прибегнуть, для того, чтобы попытка удалась. Так участие в виноградском семинарии пригодилось в том смысле, что реферат по одному из вопросов истории Средневековья был принят профессором гражданского права и зачтен, как работа по его специальности.

Экзамены прошли триумфально, и сдачу их Маклаков называет "главным спортивным достижением" своей жизни. Он вообще любил экзамены, любил их обстановку, их атмосферу, бессонные ночи, волнения перед столом с разложенными на нем билетами, профессорские одобрительные кивки при удачных ответах. Но на этот раз его удовлетворение и гордость

были особенно велики. Экстерну, еще недавно заподозренному в "неуважении к юриспруденции", было предложено остаться при Университете. Но Маклаков, за год до того принужденный отклонить аналогичное предложение своего любимого учителя Виноградова, не считал себя готовым к изучению или научному анализу отвлеченных юридических тонкостей: немедленно по получении диплома он подал прошение о зачислении в кандидаты на судебную должность и двадцати семи лет от роду вступил в московскую адвокатуру.

На этом, собственно говоря, обрывается то время его жизни, которое можно назвать временем исканий, блужданий и вообще "годами ученичества". Путь был выбран окончательно, юристом Маклаков остался и по профессии, и по складу своего мышления до конца дней. Не берусь судить, насколько твердо и прочно усвоил он самые знания, насколько далеко проник во все сложнейшие разветвления юридической науки за тот короткий срок, который дал себе для получения диплома, — но, пожалуй, именно эта безостановочная, почти что исступленная работа над курсами по различным отраслям права, это вынужденное общение с "духом юриспруденции", без всяких иных впечатлений, без чего бы то ни было, могущего отвлечь в сторону, именно это-то и сформировало ум Маклакова, каким знали мы его уже много позднее. Понятие права впервые предстало ему тогда в ореоле основного принципа всей его будущей деятельности, и хотя пришлось этому понятию пройти в его сознании через многие сомнения и испытания, — в частности, под воздействием Толстого, — не отрекся он от него никогда.

Молодой адвокат был довольно близко знаком

с Плевако и тот, очевидно успевший оценить его ум, энергию и даровитость, собирался немедленно записать его в помощники, не допуская, конечно, и мысли об отказе. Но Маклаков отказался, хотя искренне любил Плевако, как человека, и восхищался его талантом. Дело было в том, что в окружении знаменитого адвоката находилось не мало людей с репутацией более, чем сомнительной, а иные помощники Плевако пользовались его именем для темных сделок и личной наживы. Маклаков не хотел в эту компанию входить. Кроме того один из старших друзей дал ему такой совет:

"Не иди к знаменитостям: им будет не до тебя и у них ты ничему не научишься. Не ходи и к неизвестному человеку: у него дел не найдешь. Иди к тому, кто еще не знаменит, но скоро им будет".

Маклаков послушался совета и записался к Ледницкому, с которым сохранил добрые отношения до своего отъезда из России осенью 1917 года. Плевако сначала был обижен. Но беззаботность его в отношении своего окружения причудливо сочеталась у него с не меньшей проницательностью: доводы Маклакова он сразу понял и признал их правильными.

Сотрудничество с цивилистом Ледницким было — как сам Маклаков выражается — "только формальным". Молодого адвоката тянуло к делам уголовным, близким к жизни, к повседневным человеческим невзгодам и несчастьям, и довольно скоро образовалась у него самостоятельная практика.

Первое дело, в котором довелось ему выступить. навсегда Маклакову запомнилось, — оттого ли, что было оно именно первым. или по самому своему характеру: слушалось оно не в Мировом Суде, где молодые защитники обычно начинали свою карьеру, а

в Московской Судебной Палате, да и было оно передано ему не его "патроном", а Львом Толстым. Точнее, Толстой обратил на это дело его внимание и просил им заняться.

Дело было мелкое, но чрезвычайно показательное для "бесправия", с которым Маклаков начинал борьбу, для тех правительственных и церковно-административных нравов, при которых человек чистый, тихий, никому зла не делающий, мог быть объявлен опасным ниспровергателем основ.

В хамовническом доме Толстых бывал сектант, которого там в шутку называли "табачной державой", — как он сам, не в шутку, а всерьез, величал всех курящих. Однажды, будучи в Калуге, он проходил мимо какой-то фабрики. Рабочие, очевидно его знавшие, стали его дразнить, что-то ему кричать. Он в долгу не остался. Перебранку услышал околоточный, что-то почудилось ему в ней противозаконное, "табачная держава" был тут же задержан и по приговору Калужского Окружного Суда заключен в тюрьму за "совращение в раскол".

Защищавший его в суде присяжный поверенный подал апелляционную жалобу и уступил дело Маклакову. Маклаков просил сектанта — освобожденного из тюрьмы под залог, им за него внесенный — явиться в Судебную Палату, рассказать, как было все дело, и не сомневаясь в успехе, на этом показании построил свою речь. Но "держава" испугался, куда-то до заседания спрятался, речь оказалась поэтому мало убедительной и приговор Окружного Суда был Палатой утвержден.

Огорченный неудачей, Маклаков — "первый блин комом!" — бросился к Плевако, который посоветовал ему обратиться в Сенат. Толстой написал

письмо Кони. На этот раз подсудимый на слушании своего дела присутствовал. Прокурор Бобрищев-Пушкин отнесся к нему сравнительно мягко, от бессмысленного обвинения в "совращении в раскол" отказался, но настаивал на оскорбительных выражениях по адресу Православной Церкви, которую подсудимый будто бы назвал "овощным хранилищем". Подсудимый, услышав это, усмехнулся, перелистал лежавшую перед ним толстую богослужебную книгу и протянул ее Маклакову. В книге этой, утвержденной и одобренной Синодом, православная церковь именовалась именно так: "овощное хранилище". Эффект получился полный, сенаторы с трудом сдерживали улыбки и подсудимый был оправдан.

Так, с этого ничтожного, но по существу примечательного судебного дела, — и притом с благословения Толстого, — началась адвокатская работа Маклакова, и его долголетнее "служение" праву.

Юрист

В предисловии к юбилейному сборнику речей Маклакова М. А. Алданов дважды выразил свое удивление по поводу того, что Василий Алексеевич стал адвокатом. Надо признаться, что некоторые основания для такого удивления есть, и не случайно Алданов привел выдержку из статьи Маклакова "Толстой и суд", где об адвокатуре высказаны мысли, которые он называет "парадоксальными". Маклаков повидимому не захотел оставить алдановское замечание без ответа и в последней своей книге ("Из воспоминаний") рассказал и объяснил, почему его к адвокатуре потянуло, несмотря на все то отрицательное, что случалось ему о ней говорить. Добавлю от себя, что со стороны такого проницательного человека, каким был Алданов, удивление может в свою очередь показаться парадоксальным, и я не уверен, что он на словах своих стал бы настаивать: в самом деле, будь Маклаков натурой менее сложной, порывистой и противоречивой, удивление было бы пожалуй оправдано. Но к нему, с его способностью видеть в одном явлении множество переплетающихся черт и линий, нельзя предъявлять требований обычных.

Цитата из "Толстого и суда" сделана Алдановым с сокращениями. Но этот страстный выпад знаменитого адвоката против самой сущности своей деятельности настолько замечателен, что стоит привести его целиком.

Маклаков пишет:

"Адвокатура — профессия, которая, конечно, имеет свои профессиональные черты, и в них много отрицательных. Мы сами их знаем. Это, конечно, не продажность, на которую так часто напирает общее мнение, — это свойство может быть в отдельных представителях адвокатуры, но это не свойство профессии, оно совсем не необходимо. Это свойство падает на человека. Но есть нечто неизбежное, яд самой профессии, который в большей или меньшей степени ложится на каждого: это та гибельная школа ума, в которой принужден жить адвокат и из которой не всякий выходит здоровым. Если вдуматься в условия адвокатской профессии, то нельзя не признать, что она ставит человеческий ум в положение, противное его назначению. Все мы мыслим и должны мыслить от фактов к выводу; уменье читать факты, находить в них правду — это и есть задача ума. В адвокатской профессии — наоборот: вывод дан заранее, к нему человек идет не от фактов, он привносится в дело. Вывод готов, и уже факты подгоняются к выводу. В адвокате вырабатывается умение найти в фактах то, что нужно найти; находить положительную сторону там, где ищут ее, и черные пятна там, где их ожидают. Вырабатывается умение не только находить то, что ищут, но не видеть того, что не хотят видеть. Напрасно думают, что адвокат обманывает других: он больше всего обманывает самого себя. Никогда не бывает, чтобы адвокату принесли дело и предложили стать на ту или другую сторону, по его выбору и усмотрению, чтобы он мог выбрать ту сторону, которая ему кажется наиболее справедливой. У адвоката ищут защиты, просят защитить определенную сторону, найти все то, что го-

ворит в ее пользу. И если в некоторых исключительных случаях он признает ту или иную позицию незащитимой и от дела отказывается, то это исключение; нормальная работа адвоката в том и заключается, что, принимая дело, он принимает на себя обязанность глядеть на него предвзято, и все его искусство в том, чтобы отстоять эту предвзятую мысль. Оттого-то в адвокате развивается усиленная способность аргументации и исчезает способность убеждения. Адвокаты — люди беспринципные. Я говорю это не в дурном смысле, которым клеймят человека, который изменяет свои убеждения. У адвоката просто их нет; он хорошо понимает, что во всем две стороны, что обо всем можно спорить. В нем развивается только искусство спорить, обнаруживать то, что другие не видят. Истин и положений бесспорных для него почти не существует. Посмотрите на адвоката на консультации: там, где нужно ему сказать свое убеждение, он беспомощен, он теряется. Он хорошо знает, что все можно двояко решить. И только, когда ему скажут, чего от него ждут, что желательно, тогда он оживляется и становится на твердую почву. Это — свойство адвокатуры, в котором не адвокаты повинны, а самая их профессия, оно является типичной профессиональной болезнью".

Ни Алданов, ни кажется никто другой не обратили внимания на одну подробность: эта страница из статьи о "Толстом и суде" к мыслям Толстого или даже к мыслям о Толстом прямого отношения не имеет, и Маклаков откровенно это подчеркивает. Вся филиппика вырвалась у него сама собой, может быть и в связи с Толстым, но никак не для объяснения того, почему Толстой судебных деятелей, и в частности адвокатов, не долюбливал. "Не эти сооб-

ражения, — пишет он, — не эти свойства профессии оттолкнули Толстого от адвокатуры. Отрицание Толстого вытекало из других источников". Значит Маклаков только воспользовался случаем сказать то, что сказать ему давно хотелось, отошел в сторону и увлекшись, дал себе волю, все договорил до конца*).

Статья — или точнее речь — о "Толстом и суде" относится к 1912 году. Но и тогда, когда Маклаков, еще молодым человеком, вступал в адвокатское сословие, он о смущавших его свойствах и особенностях избранной им профессии знал, или по крайней мере догадывался. Если все-таки он принял решение, определившее его дальнейшую жизнь, то очевидно потому, что видел в адвокатской деятельности и многое другое, при том более важное, чем мало-помалу укореняющуюся в сознании каждого адвоката привычку подгонять факты к выводам.

"Из этой школы ума", — говорит он, — "не всякий выходит здоровым". Да, не всякий, но сам он повидимому надеялся умственное свое здоровье сохранить, и с этой надеждой начинал ту деятельность, которую много позднее назвал "служением".

Основываясь на всем том, что Маклаков сам о себе сказал или рассказал, как и на его судебных и политических речах, приходишь к убеждению, что

---

*) Впрочем в «Воспоминаниях» приведен эпизод, доказывающий, что эта адвокатская беспринципность была Толстому ясна и его раздражала. К Льву Николаевичу приехал как-то Карабчевский, чтобы рассказать о громком процессе, в котором ему удалось добиться оправдания двух консисторских чиновников, обвинявшихся в убийстве. Толстой слушал с интересом и вниманием, а потом спросил: «Ну, а кто же все таки убил?» Карабчевский с торжеством ответил, что несомненно виновен один из его подзащитных.

«Толстой — вспоминает Маклаков — сразу завял, пожевал губами и больше об этом не заговаривал».

центральной, руководящей, непреложной маклаковской идеей на протяжении всей его жизни была идея права. Он стал адвокатом именно ради нее и во имя ее. Еще в юности он достаточно насмотрелся на образцы произвольного обращения с человеческой личностью, пусть и в сравнительно безобидных формах, и тогда же вероятно возникло у него стремление вступить со всяким произволом в борьбу. Милюков однажды иронически заметил, что Василий Алексеевич и в политике "остался адвокатом", и Маклаков не стал против этого замечания спорить, хотя, конечно, и уловил в нем упрек. Адвокатом права, защитником и апологетом права, как основы всякой государственности и всякого общежития, Маклаков был неизменно, был всецело, и если в речах его можно обнаружить какой-нибудь пафос, то именно пафос права и законности. Он не выносил так называемых "цветов красноречия", избегал реторики. Пафос его не нуждался в сколько-нибудь напыщенном словесном обличии, в эффектных фразах. Он говорил с той совершенной простотой, которая заставляла предполагать, что слова находил он одновременно с мыслью, как естественное ее выражение. И едва только оказывался затронутым принцип права и законности, все чувствовали, что защищает он не столько дело очередного клиента, сколько нечто общее, по его убеждению всем нужное, без чего суд превращается в преступную бессмыслицу. Прокурор в его представлении не должен быть ни врагом обвиняемого, ни противником защиты: роль прокурора — беспристрастно изложить в поисках истины те доводы, которые могут склонить решение судей в одну сторону, роль адвоката — найти и развить доводы противоположные. Только и

всего. Оба служат одному и тому же делу — торжеству закона и правосудия. Маклаков хорошо знал, что в старой России, как бы выгодно она ни отличалась в отношении судебных порядков от России нынешней, законы были далеки от совершенства и случалось приводили к несправедливости и даже нелепостям. О том, что законодателю предстоит в России огромная работа по проверке, очищению и исправлению гражданского и уголовного уложения он не раз говорил. Но пока это сделано не было, надо было по его убеждению твердо держаться того, что считалось незыблемым принципом правосудия. Для охраны этого принципа суды и были созданы.

Из всех процессов, в которых пришлось Маклакову выступать, самый громкий несомненно — дело о подписавших Выборгское воззвание. Правда, не менее "громко" было и дело Бейлиса, но оно было не только искусственно создано, а и раздуто до размеров всероссийского события и политико-юридического скандала из-за явного стремления власти добиться осуждения человека к преступлению непричастного*). В Выборгском процессе на скамье под-

---

*) В процессе Бейлиса выступили защитниками, кроме Маклакова, две знаменитости — Грузенберг и Карабчевский. Однако по единодушному свидетельству лиц, на суде присутствовавших, именно речь Маклакова оказалась центральной и имела решающее значение. Состав присяжных был по своему культурному уровню очень низок, подобран из людей, которые по предположению властей должны были иметь некоторую склонность к антисемитизму и могли поэтому Бейлиса осудить, не давая себе труда вникнуть в сущность дела. Слегка театральное, приподнятое по тону красноречие Карабчевского впечатления на них не произвело. Грузенберг, говоривший преимущественно о положении евреев в России, погромах, о «кровавом навете», имел бы вероятно успех в иной обстановке, у другой айдитории, но рчеь его, расчитанная на газетные отчеты и на отклики в кругах русской интеллигенции, присяжными была воспринята скептически и даже недоверчино. Один

судимых находились виднейшие представители русской интеллигенции и никто из обвиняемых не отрицал фактов, им инкриминировавшихся. Ничего мелкого, случайного, спорного, вздорного в деле этом не было.

Маклаков произнес на Выборгском процессе речь, которая и на судей, и на самих обвиняемых произвела сильнейшее впечатление. По существу он обвиняемым не сочувствовал и считал подпись воззвания крупной политической ошибкой. На этой почве у него произошла размолвка с Винавером, страстным поклонником Первой Государственной Думы, — Думы "народного гнева", по его определению, — и перед процессом отношения их были крайне натянуты. Но Винавер был в юриспруденции великим специалистом и речь Маклакова он оценил по достоинству, хотя того, чего все ждали, т. е. защиты депутатов и их поступка в ней не оказалось: оценил настолько, что забыв недавние раздоры "сорвался", — как пишет Маклаков, — со своего места и заключил его в свои объятия. Крашенинников, председатель Судебной Палаты, признался, что "потрясен" речью и ушел из зала, не объявив о закрытии заседания. Много позднее, уже в советской России,

---

Маклаков «дошел до сердец». По своему обыкновению он обращался именно к присяжным, а не через их головы к кому либо другому. Еврейского вопроса он не коснулся вовсе, чем, кстати сказать, вызвал возмущение и страстные упреки Грузенберга. Маклаков говорил с большой простотой, объяснил с совершенной наглядностью непричастность Бейлиса к преступлению, напомнил, что суд есть прежде всего выражение справедливости и что решение присяжных должно быть основано на их совести. По совести осудить Бейлиса было невозможно. Язык Маклакова, его доводы, его примеры были понятны всякому, он не ораторствовал, не поучал, он беседовал с присяжными, как равный. Это они оценили и потому с ним согласились.

бывший присяжный поверенный Мандельштам в вос-воспоминаниях своих утверждал, что лучшей судебной речи не слышал за всю свою жизнь, хотя выступать ему доводилось со всеми корифеями русской адвокатуры.

Речь эта помещена в юбилейном сборнике. В предисловии к книге Алданов, вообще то на похвалы не скупившийся, именно об этой, выборгской речи высказался сдержанно. "В чтении, — утверждает он, — речь эта сильно не действует. Вероятно, эту речь надо было **слышать...** В первый и в последний раз Маклаков говорил о деле, которое было или казалось историческим. Такой оратор, как Василий Алексеевич мог сделать исторической свою речь".

Приблизительно то же сказал позднее и А. А. Гольденвейзер в статье, помещенной в "Новом Русском Слове" и вошедшей затем в его книгу "В защиту права":

"При перечитывании эта речь вызывает во мне чувство некоторой неудовлетворенности".

Алданов сделал оговорку: оценить эту речь может, по его мнению, только юрист. Но Гольденвейзер — юрист, а в отзыве своем с не-юристом Алдановым сошелся.

Не берусь объяснять происшедшее недоразумение, должен однако сказать, что на мой взгляд произошло именно недоразумение и что если в речь Маклакова внимательно вчитаться, ошеломляющее ее действие становится полностью понятно. Больше того: ее содержание, простое, как дважды два четыре, и сейчас, полвека спустя, выростает, расширяется до размеров убедительнейшей и красноречивейшей апологии организованного общества, государственной благопристойности, государственной совестливости, су-

да, как выражения законности и как опровержения каратаевской уверенности в том, что "где суд, там неправда". Пожалуй, при беглом чтении, может в самом деле показаться, что Маклаков в важнейшем политическом процессе, еще до открытия взволновавшем пол-России, ограничился каким-то крючкотворством и вместо проникнутых гражданской скорбью рассуждений о роли и значении народного представительства принялся толковать о статье 129 Уголовного Уложения, карающей за распространение преступных воззваний, и о статье 132, предусматривающей только их составление. Да, как будто бы так. Но за статьями закона была у Маклакова мысль, — и не только мысль, а и боль, — о законности вообще, и о неминуемом разложении государства, где прокурор при попустительстве председателя закон насилует в угоду правительству. Маклаков не снизил Выборгского процесса, а наоборот поднял его до общего вопроса о том, что такое правовое общественное устройство, вопроса, в котором судьба обвиняемых депутатов была лишь частным и сравнительно мало важным случаем. Да и что им угрожало? Крыленок и Вышинских ведь тогда еще не было. и о какой-либо действительно страшной и тягостной каре не возникало и речи. Ореол "борцов за правду", рисковавших ради этой правды своей личной свободой, от осуждения сделался бы только ярче. Маклаков не без иронии приводит заключительные слова своего товарища по защите Пергамента:

"Венок их славы так пышен, что даже незаслуженное страдание не вплетет в него лишнего листка".

Речь Пергамента казалась именно "исторической" и вероятно произнесший ее чувствовал себя в эту минуту Дантоном или Мирабо. Но можно было

взглянуть на дело иначе, и, как поступил Маклаков, спросить себя и судей, на каком основании и подчиняясь чьему капризу, прокурор, доподлинно зная, что должна быть применена статья 132, требует применения статьи 129. Мелочь, придирка? Но так иногда умный и проницательный врач бывает поражен каким-нибудь мелким симптомом, для других будто бы пустяшным, — и по еле заметной опухоли или затвердению догадывается, что человек обречен. Маклаков говорил именно о роковой болезни русского государства, и чтобы понять и разделить волнение, охватившее тогдашних его слушателей, вовсе не надо было быть свидетелем того, как, с каким ораторским мастерством была она произнесена (предположение Алданова), достаточно уловить основные ее побуждения.

Вот заключительные слова Маклакова на Выборгском процессе, итог и заостренная сводка развитых им мыслей:

“Беда страны не в дурных законах, а в том, что беззаконие может твориться у нас безнаказанно. Какие бы хорошие законы ни были изданы, как бы ни был хорош законодательный аппарат, который теперь установлен, но если законы охранять будет некому, то от них не будет блага России. А охрана от всякого нарушения и сверху, и снизу есть задача суда. Им могут быть за то недовольны, его могут втягивать в борьбу политических партий, могут грозить его несменяемости, но пока суд стоит на стороне закона, до тех пор живет государство.

А когда я вижу, что прокурор, блюститель закона, просит, публично просит его нарушения, когда не для торжества правосудия, а ради политических целей он просит применить статью, которую нельзя

применять, тогда наступает тот политический соблазн, перед которым в отчаянии опускаются руки. И не о судьбе этих людей, как бы они не были мне близки и дороги, я думаю в эту минуту. Для них ваш приговор многого сделать не может, — но от него я жду ответа на тот мучительный вопрос, с которым смотрят на этот процесс многие русские люди, вопрос о том, — есть ли у нашего закона защитники?"

Недооценка Алдановым и, думаю, в особенности юристом Гольденвейзером самой знаменитой из его судебных речей Маклакова повидимому задела. В книге Гольденвейзера "О защите права" приведено письмо Василия Алексеевича к автору, помеченное 1950 годом. Письмо в высшей степени любопытное и показательное. Много лет после Выборгского процесса, Маклаков речь свою еще отстаивает и выражает предположение, что кое-что от Гольденвейзера "ускользнуло". Отвечает он заодно и Алданову. Оба они нашли, что он, Маклаков, "уклонился от главного спора и свою задачу сузил", оба признали, что он "процесс развенчал". Но на суде, возражает Маклаков, следовало говорить о том, что было непосредственным содержанием процесса, а не о "споре Короны с Думой", споре, на который компетентность Палаты распространиться ни в коем случае не могла.

"Мне не свойственно, — пишет Маклаков, — говорить только для публики и для потомства, минуя тех, к которым я обращаюсь, и потому от "исторической" речи на суде я сознательно и убежденно отказался".

Дело о подписавших Выборгское воззвание слушалось в те годы, когда Маклаков был уже одним из самых известных русских адвокатов. Впервые о

нем заговорили, как о будущей знаменитости, на процессе, теперь совершенно забытом, хотя в свое время он вызвал оживленные толки. Касался этот процесс хищений в Северном Страховом Обществе при попустительстве и даже участии главного бухгалтера и некоторых служащих. Дело было денежное, обвиняемые в средствах не стеснялись, еще меньше стеснено было в них Общество, выступавшее в качестве гражданского истца, — и к участию в прениях были привлечены юристы с крупными именами: Плевако, Карабчевский, Шубинский, Пржевальский и другие. Плевако должен был защищать страхового агента Снеткина, растратившего полученные им от клиентов суммы, и к делу в сущности не причастного, а привлеченного лишь потому, что и за него ответственно было Общество. Брат этого Снеткина была когда-то у Плевако помощником и уговорил его взяться за защиту растратчика. Однако за несколько дней до процесса Плевако должен был выехать в Тифлис по делу, давно им принятому, и передал защиту Снеткина Маклакову.

Процесс длился несколько дней, интерес его сосредоточился на борьбе гражданского истца Пржевальского с главным бухгалтером Общества, о Снеткине и о молодом, никому не известном его защитнике никто не думал, тем более, что растратчик в противоположность остальным подсудимым, вины своей не отрицал. На открытом признании его вины Маклаков речь свою и построил, указав, что "все равно оправдательный приговор — даже если бы он был вынесен — не обелит этого дела". Растратчик постоянно бывал на бирже, заразился царящей там атмосферой, увлекся мечтой о легкой наживе, да, он поступил недопустимо, нечестно, но он понял свою

ошибку, он сознался, он обещал долг свой покрыть, вернуть, — неужели суд не признает, что человеку в его положени должна быть дана возможность восстановить свое доброе имя, неужели суд не согласится, что такой человек заслуживает снисхождения и милосердия?

В "Воспоминаниях" Маклакова нет ни указания, ни хотя бы намека, что на общий склад и особенности этой речи повлиял тот, кто Снеткина должен был защищать, т. е. Плевако. Но сомнений быть не может: это дух и тон Плевако, это его приемы, его правдивость, исключающая головоломные ухищрения с целью доказать, что черное следует считать белым, а белое черным, — как удалось это адвокату из "Воскресения",

"сумевшему отнять у старушки ее имущество в пользу дельца, не имевшего на это имущество никакого права".

"Гениальный адвокат!" — говорит о нем кто-то в романе Толстого. Маклаков такого рода гениальностью пренебрег, и пренебрегал всегда. В этом отношении первая из судебных речей молодого защитника, обратившая на него всеобщее внимание, была истинным началом его адвокатской деятельности, его "служения". Неожиданный успех речи он объясняет ее "простотой". Председатель суда Давыдов публично благодарил его. Репортеры требовали полного текста речи для газет. В. А. Гольцев в "Курьере" писал:

"Поздравляю молодого адвоката со словами о том, что оправдательный приговор не обелит дела, словами прямыми, искренними, честными, достойными великого дела правосудия. В них вся правда: осуждение греха и пощада грешнику".

Было бы однако заблуждением считать, что простота аргументации и подхода оставалась в деятельности Маклакова принципом неизменным. Когда на скамье подсудимых сидел человек бесспорно виноватый и в вине своей сознавшийся, он в самом деле предпочитал обращаться к сердцу присяжных, не пытаясь сбить их с толку юридическими уловками. Но далеко не все процессы, где он вел защиту, были таковы, и хотя его несомненно больше влекло к делам с жизненной, житейской, непосредственно-человеческой сущностью, делам "пахнущим жизнью", отражавшим бесконечное разнообразие людских несчастий, случалось ему выступать и в тяжбах совсем иного рода, таких, где умственной находчивости принадлежала главная роль. Одним из этих дел был процесс кн. Мещерского, обвиненного М. А. Стаховичем в клевете. Маклаков выступал в нем, как гражданский истец.

Дело было по существу не сложное. Стахович написал статью об изъянах в русских судебных порядках и послал ее в петербургский журнал "Право". Цензура статью задержала, а рукопись оказалась переслана заграницу, в "Освобождение" П. Б. Струве, который ее и напечатал, однако с оговоркой, что делает это без ведома автора.

Кн. Мещерский в "Гражданине" возмутился: подумайте, Стахович, орловский губернский предводитель дворянства, сотрудничает в нелегальном, чисто-революционном органе! Оговорке Струве — грош цена. Не может быть сомнений, что послал статью в "Освобождение" тот, кто ее написал.

В ответ возмутился Стахович, соглашаясь однако с основным доводом Мещерского и признавая, что сотрудничество в "Освобождении" было бы для

него зазорно. На эту же точку зрения готов был стать и Плевако. Но для Маклакова это было неприемлемо, и если бы он стал обвинять Мещерского в клевете на том основании, что Стахович добровольным сотрудником Струве не был, то должен был бы в согласии с законом признать, что помещение статьи в "Освобождении" — "деяние противное правилам чести". Закон именно так толковал понятие клеветы. Между тем Маклаков был со Струве в добрых отношениях, искренне его уважал и не видел даже для губернского предводителя дворянства ничего бесчестного в участии в "Освобождении". Надо было найти выход, тем более, что и Струве, и Стахович на выступлении Маклакова в процессе настаивали, — и Маклаков его нашел. Клевета, доказывал он на суде, состоит в том, что Мещерский приписал Стаховичу трусливую попытку прикрыться заверением Струве: именно это "противно правилам чести", вовсе не самый факт появления статьи в нелегальном журнале. Человек своей честью дорожащий, действует открыто, и если бы Стахович сам послал Струве свою статью, то не стал бы этого отрицать. Суд, на этот раз подчеркнувший свою политическую независимость, — с доводами Маклакова согласился и приговорил Мещерского к двухнедельному тюремному заключению.

Перечислять все главнейшие судебные речи Маклакова, передавать их содержание — не к чему. Но невозможно обойти молчанием одну из них: речь по Долбенковскому делу, вошедшую в юбилейный сборник.

В сущности, это — речь скорей политическая, чем юридическая. Интересно и характерно, что на Выборгском процессе, за которым следила вся стра-

на, Маклаков "исторической" речи произнести не пожелал, а тут, по делу сравнительно мелкому, касавшемуся одного из тех аграрных беспорядков, которые после 1905 года стали явлением обычным, произнес речь именно "историческую" по складу, как бы дав волю накипевшему в нем чувству. Между Долбенковским и Выборгским процессами прошло больше двух лет: может быть за это смутное и тревожное время Маклаков успел несколько эволюционировать, поправеть, и именно этим, хотя бы отчасти, следует объяснить его формальную сдержанность в более позднем Выборгском деле? Предположение это допустимо — а при исключительной впечатлительности Василия Алексеевича, при обилии в нем тех черт, которые человечески скорей выгодно, а политически, общественно скорей невыгодно отличают его от Милюкова, — т. е. при некоторой зыбкости всего его политического облика, — предположение это даже правдоподобно. В долбенковской речи чувствуется политический, а не юридический пафос, с душком почти что революционным, во всяком случае с предвидением и предсказанием революции, с перенесением ответственности за нее именно на тех, против кого она направлена. Говоря о буйстве крестьян, вызванном действиями егермейстера Филатова, управляющего экономией Вел. Кн. Сергея Александровича, упомянув о "русском бунте, бессмысленном и беспощадном" и подчеркивая, что обращается к судьям, как представителям государственной власти, Маклаков воскликнул:

— "Учитесь на этом примере тому, что нас ожидает. Но во имя справедливости помните, что не на них ляжет за это ответственность!"

Грозный свой упрек Маклаков обосновал тем,

что местные власти, избегая конфликтов с влиятельным Филатовым, заранее оправдывали все его действия и не оставили крестьянам в качестве средства самозащиты ничего, кроме бунта, грабежа и насилия. Разумеется, — заметил Маклаков, — другие средства существуют, по крайней мере, в принципе: но доступны ли они темным крестьянам в стране, где государственная власть считает преступлением всякие, даже самые мирные попытки улучшить и упорядочить существующий строй? Рано или поздно власть эта за слепоту свою поплатится.

Случайно ли то, что в своих мемуарах, написанных в годы, когда самое понятие революции, — или, как он по привычке к былой условной политической терминологии выражается, Ахеронта, — становилось для Маклакова все более и более одиозным, он об этой замечательной речи не сказал ни слова? Не тяготило ли его воспоминание о ней? Казалось бы, ее стоило выделить среди выступлений много менее ярких, о которых Маклаков обстоятельно и охотно рассказывает. Однако о долбенковском деле — молчание. Правда, порицая и высмеивая правительство, Маклаков и тогда революционером не был. Но вольно или невольно он на революционную мельницу воду лил, и долбенковская его речь в то время никем иначе истолкована быть не могла.

В сущности, все самые удачные, самые яркие из судебных речей Маклакова имеют этот двойственный характер: политический и юридический. Разветвление его деятельности, или если угодно, его призвания, — адвокатского и политического, — отразилось в его ораторском творчестве, исходившем из обоих источников и только при этом условии достигавшем полноты и высоты. Случай со Снеткиным

— исключение, объясняемое, повторяю, влиянием Плевако. В течение долгой своей практики Маклаков защищал, конечно, и других взяточников, растратчиков или разбойников, но произвели наибольшее впечатление и запомнились до наших дней речи именно двойственные, — да ведь и в Государственной Думе он большинству своих речей, в частности знаменитой речи о военно-полевых судах, придал тот же политико-юридический характер. Вспомню еще раз замечание Милюкова, что Маклаков "и в политике остался адвокатом". (Повидимому для Милюкова всякое "смешение родов" представлялось нежелательным. Если перенести сравнение в литературу, можно бы сказать, что Милюков был классиком, неодобрительно косившимся на романтические вольности в сплетении стилей и жанров. Маклаков же был в этом смысле романтиком, да пожалуй и не только в одном этом смысле, а и вообще, во всей своей деятельности).

В области гражданского права, а в особенности в тех процессах, где столкновение юридических доводов или разногласия в истолковании какого-нибудь давнего сенатского решения затрагивали порой огромные финансовые интересы, но оставались вне прямого воздействия на отдельные человеческие судьбы, Маклаков был по собственному определению всего только "гастролером". У него повидимому вообще не было расположения к той отвлеченной умственной игре, в которой юриспруденция обнаруживает некоторое родство с математикой и где своеобразное интеллектуальное вдохновение порой поднимает ее до высот подлинного творчества. Маклаков ценил такого рода юристов, склонялся перед авторитетом иных мастеров и артистов юридиче-

ского “чистого разума”, — например, Пассовера, — прислушивался к их суждениям, но сам оставался от их дела далек. Он был по природе практиком, а не теоретиком, и то “служение”, о котором он говорил, настойчивее требовало практической борьбы с бесправием, чем уединенных кабинетных раздумий, направленных к тому, чтобы распутать какой-нибудь сложнейший узел противоречивых юридических хитросплетений. “Я никогда ни у кого не был юрисконсультом”, — не без удовлетворения пишет он в “Воспоминаниях”, — хотя тут же откровенно признается, что если от крупных гражданских дел он отказывался, то главным образом потому, что они “требуют неослабного внимания и многочисленных справок”. У него не было на это времени, не было к этому и охоты.

Для понимания Маклакова, как уголовного защитника, а впрочем и для общей его характеристики, чрезвычайно важна его статья о Плевако. Не знаю, в какой мере считал он себя его учеником: все то отрицательное, порой даже пренебрежительное, что обычно говорилось о Плевако в среде адвокатов иного склада, иного, более “головного” типа, было ему хорошо известно, и частично он с этими суждениями был согласен. Однако, ни о ком другом из своих старших товарищей Маклаков не отзывался с такой теплотой, с такой любовью: повидимому близость к Плевако, постоянные встречи и беседы с ним имели в его духовной биографии большое значение.

Маклаков был человеком внутренне скромным, вполне свободным от всякой заносчивости или чванливости, но цену своим дарованиям он, конечно, знал, да и наслышался за свою долгую жизнь слишком

много похвал и комплиментов, чтобы могло это быть иначе. Достойно внимания однако, что в статье о Плевако раза три или четыре мелькает у него слово "завидный", будто какое-то превосходство Плевако над собой он сознавал и чувствовал. Но превосходство лишь в малой доле профессиональное, техническое: главным образом нечто совсем другое, то, что бросает свет на его скрытый духовный мир и позволяет Маклакова лучше понять.

Два слова сначала о первом, менее значительном: касается это исключительной способности Плевако говорить без подготовки, и притом говорить блестяще, с необычайной убедительностью. Об его ораторском даровании Маклаков отзывается, как о каком-то чуде, и склонен даже именно им, этим дарованием, объяснить сравнительную небрежность Плевако в изучении дела, недостаточное внимание к чисто юридической сущности того или иного процесса, т. е. то именно, что ставили ему в вину: "златоуст" будто бы знал, что язык его не подведет, знал, что в нужную минуту найдет слова, доходящие до сердца присяжных, и на это главным образом и рассчитывал.

При репутации самого Маклакова, как лучшего русского оратора нашего времени, естественно возникает вопрос: владел ли он сам таким же дарованием, уступал ли Плевако, а если уступал, то в какой мере? Даже не придавая эпитету "завидный" точного дословного значения, т. е. не допуская у Маклакова зависти, чувства мелкого и мелочного, спрашиваешь себя, не вырвалось ли из под его пера это слово само собой, в порядке "подсознательном"? Нет ли в его отношении к волшебнику Плевако чего-либо чуть-чуть сальерического?

Кто хоть раз слышал публичное выступление Василия Алексеевича, знает, что речь его казалась совершенной импровизацией. Перед ним не бывало ни записки, ни конспекта, слова лились с той непринужденностью, которая не только допускает, но и требует некоторой вольности в построении периодов и известной доли беспечности в отношении к синтаксису. Посредственный оратор изо всех сил стремится к тому, чтобы говорить без малейших перебоев, будто по печатному тексту. Маклаков был бесконечно тоньше, опытнее, взыскательнее, и отличье стиля устного от стиля письменного чувствовал, как редко кто другой. Но было ли это у него "от Бога", как несомненно было у Плевако, — или же свои "импровизации", он более или менее тщательно подготовлял, доходя даже до подготовки иных пауз, будто бы вызванных внезапно мелькнувшей, новой мыслью, и вообще до приемов, которые иллюзию непринужденности создают? В статье, посвященной Плевако, описанию такого рода приемов уделено много места, и Маклаков не скрывает, что некоторые известные ораторы к ним прибегают.

Свидетельства ближайших к Василию Алексеевичу людей в этом отношении не вполне сходятся. Одни из его друзей полагают, что он способен был произнести блестящую двухчасовую речь без всякой подготовки и что перед выступлениями своими он обдумывал лишь содержание речи, а не ее словесную форму. Другие утверждают, что он чуть ли не заучивал свои речи наизусть и заранее определял, где возвысить голос, где на несколько секунд задумчиво остановиться, не оставляя без подготовки ничего. Слышал я это от людей, которых в каком-либо не-

доброжелательстве к Василию Алексеевичу заподозрить невозможно.

Кто прав, кто ошибается — ответить трудно. Вопрос остается не совсем ясным. Должен однако заметить, что противоречье между двумя утверждениями не так велико, как на первый взгляд кажется. В самом деле, можно допустить, что и при наличии у Маклакова импровизационного дарования, он все же был настолько требователен к самому себе, настолько внимателен к каждому, взятому на себя делу, что не хотел надеяться на "авось", на "как-нибудь". Один из его несомненно и бесспорно импровизированных докладов, притом на очень скучную тему, вызвал восхищение Винавера: значит импровизировать он был способен, пусть и без плевакинского несравненного блеска, без того, что сам Плевако называл "фейерверком". Однако, в том или ином случае, особенно в случаях важных, Маклаков мог предпочесть использовать всю силу своего слова, а потому разучивал свою речь, для большей ее действенности придавая ей квази-импровизационное обличье и делал это с великим искусством и подлинно артистическим мастерством. Ничего обидного для памяти или для представления об ораторском таланте Василия Алексеевича тут нет, и те его друзья, которые не совсем охотно, почти скрепя сердце, говорят о его "репетициях" перед выступлениями на трибуне, не имеют основания в чем-либо себя упрекать: в сущности, они лишь подчеркивают чувство долга, сознание ответственности, которыми Василий Алексеевич был неизменно одушевлен и которые следует признать таким же Божьим даром, как и самое вдохновенное красноречие.

Но соображения, касающиеся дара слова и спо-

собности говорить без подготовки, сравнительно мало важны, и Маклаков правильно называет их "второстепенными". Его глубокое и любовное уважение к Плеваке держится на совсем другом чувстве, — чувстве, затрагивающем самые основы существования и общежития. Здесь, в этой области, можно в самом деле допустить у Маклакова "зависть", и здесь она приобретает даже оттенок духовного благородства.

Маклаков был, — скажу еще раз, — убежденным приверженцем, защитником и поклонником права, самой идеи права, принципов права и законности, вне которых он не мыслил и не допускал сколько-нибудь приемлемого общественного устройства. Его главнейшие судебные речи, как и его речи политические, если в них вчитаться, представляют собой прежде всего апологию законности, для торжества которой установлены суды или, в случаях политических, для охраны которых существует правительство. Маклакова несправедливо было бы упрекнуть в недостатке внимания к личности подсудимого. Нет, но вдохновлялся и загорался он по настоящему лишь тогда, когда в решении судьбы подсудимого право оказывалось вытеснено произволом, а закон применялся "постольку-поскольку". Несомненно Маклаков, — как заметил когда-то еще Петр Струве, — был по характеру своему типичным, прирожденным консерватором. Если же ему волею судеб пришлось приложить руку к расшатыванию и разрушению былого русского государства, то исключительно потому, что это государство не только произволом не пренебрегало, но и не видело в нем ничего ненормального. В "Войне и мире" Александр I отвечает какому-то просителю-генералу: "Не могу, генерал, и потому не

могу, что закон сильнее меня". В последние десятилетия и годы русской монархии дело обстояло не совсем так, и вовсе не только в случаях исключительных.

Плевако был и человеком, и уголовным защитником иного склада, чем Маклаков. Государство отнюдь не представлялось ему верховной ценностью, и в характеристике его Маклаков употребляет слово, которое вероятно сильно озадачило бы того, к кому оно относится: "по инстинкту, по чувству, — говорит Маклаков, — он был анархистом". Что за диковина, в самом деле! Плевако, любимец Москвы, нет, даже не Москвы, а лучше сказать — "Белокаменной", столп и краса московского общества, завсегдатай всяких Тестовых и Славянских Базаров, наконец друг Победоносцева, церковник, по средам и пятницам не вкушавший мяса (но зато, правда, обильно вкушавший зернистую икру), не пропускавший в Великом Посту ни одной обедни, человек, менее всего помышлявший о ниспровержении существующего строя, — и вдруг анархист! Но Маклаков знает, что говорит. И то, что он о Плевако сказал, сказано без тени упрека, а наоборот чтут ли не с преклонением, может быть именно с завистью. Это-то и показательно.

Пока Маклаков описывал судебные приемы Плевако, пока говорил о его ораторском даровании, тон был у него спокойный, проникнутый обычной для него благожелательной сдержанностью. Но едва переходит он к тому, чем по его мнению особенно выделялся Плевако среди знаменитых русских адвокатов, едва касается он общего миросозерцания, которое в каждой речи Плевако находило отчетливое выражение, тон меняется — и повышается. Ошибки быть не может: Маклаков не согласен с Плевако, не

согласен с тем, что теперь, на распространившемся газетно-журнальном жаргоне можно было бы назвать "общими установками" Плевако, но не потому, что он согласие принципиально отвергал, а потому, что не находит в себе для этого согласия достаточной решимости. Умом он против Плевако, сердцем он с ним. Когда Маклаков напоминает, что для Плевако не существовало "рокового конфликта между государственным долгом и законом любви и прощения", то самое слово "роковой" тут достаточное красноречиво, чтобы выдать скрытые помыслы и чувства Маклакова, те его сомнения, о которых он предпочитает молчать. С уверенностью можно сказать, что для огромного большинства юристов никакого "конфликта", а тем более "рокового", в данном случае нет, — по той простой причине, что "закон любви и прощения" представляется им давным-давно сданным в архив.

Вот что в самом конце своей статьи Маклаков о Плевако говорит:

"Прощение виноватого казалось ему не милосердием, а самым простым и радостным делом. К согрешившему и кающемуся человеку Плевако не мог не чувствовать искренней жалости. Он знал силу страстей, их непреодолимую власть над слабостью самой благонамеренной воли... Как человек глубоко, всем своим складом, религиозный, он верил, что и несчастье, и преступление — попущение свыше, что они посланы Тем Руководителем нашей судьбы, без воли Которого с головы не падет волоса; верил, что никогда не поздно покаяться, что преступление — часто спасительный перелом нашей жизни, залог возрождения; что величайшие деятели добра иногда выходили из рядов поборников зла... Он смотрел на

жизнь и людей с высоты такого идеала, перед которым все одинаково грешны, одинаково жалки, где бросать камень, пожалуй, и некому. Согрешивший, но покаявшийся казался ему уже искуплением того зла, которое он совершил.

Личность, душа человека была для него в центре всего. Принести ее в жертву нельзя ничему, ни во имя чего... Жизнь одного человека, — говорит он в деле Кострубо-Карацкого, — дороже судьбы всяких реформ. И то была не фраза, не реторический оборот, это был настоящий Плевако.

...Он с места отрывал судей от их привычных житейских приемов мышления, он поднимал их на ту высоту, с которой сам смотрел на людей, где милосердие становится не государственной слабостью, не равнодушием ко злу, а дорогой и радостной потребностью человеческой совести. Его речь производила успокоительное и отрадное впечатление; она уносила туда, где можно было жалеть подсудимого, не ссорясь с правосудием, где обычный взгляд на необходимость возмездия начинал казаться чем-то мелким и жалким.

Плевако умел открывать в человеке то, что в нем закрыто от него самого... У слушателей его ослабевало желание мести, злоба на виноватого, даже тревога за порядок и безопасность. Они начинали испытывать ту радость собственного просветления, которую дают человеку минуты душевных потрясений, молитва, моральный экстаз. Обычная жизнь с ее суетой заглушает в нас эти чувства, и эту способность. Плевако властно воскрешал ее в самых закорузлых сердцах. Этого ему не забывали. И когда его слушателей в этот момент спрашивали, нужно ли казнить или наказывать, они радостно, от всей души

отвечали: не нужно! И то чувство, с которым его покидали судьи, им убежденные, было не только восхищение перед талантом, а радостная и умиленная к нему благодарность за счастье, ими испытанное".

Кто не ощутит, не уловит, что в этих словах есть личный, глубоко сочувственный отклик, какой-то восторг, обращенный к человеку, внесшему в судебную практику нечто более высокое, чем самые усовершенствованные законы? Еще несколько фраз, и Маклаков пожалуй договорился бы до "несчастненьких", которыми для простого русского народа были, — и как знать? может быть и до сих пор остаются — люди провинившиеся, согрешившие и по закону осужденные. Недаром же он настаивает на особой, коренной духовной "русскости" Плевако, хотя и инородца по происхождению.

Маклаков не был человеком верующим в обычном смысле этого слова, и во всяком случае сред и пятниц не соблюдал, а в церковь ходил только по необходимости, для панихид или молебнов. Но повидимому с евангельской моралью были у него какие-то смутные, тайные счеты, была к ней тяга, вместо распространенного среди большинства общественных деятелей, будь то политики или юристы, безразличья к ней. Вероятно сказалось и воздействие Толстого, но воздействие было возможно лишь потому, что личные свойства Маклакова ему благоприятствовали, зерно упало на "добрую почву". Впрочем, опасно было бы здесь в характеристике Маклакова увлечься и впасть в преувеличение. Евангельски-толстовское "зерно" дало росток едва заметный, слабый, порой заглушаемый всем тем, что связано было с житейскими успехами и разнообраз-

ной деятельностью Маклакова. Но росток все-таки остался жив и совсем заглушить себя не дал.

Оттого и отношение к праву, культ права у Маклакова гораздо сложнее, чем на первый взгляд кажется. Была в этом культе давняя трещина, пусть и тщательно замазанная. Для Плевако в подобных вопросах особой сложности не существовало. Здесь, конечно, не место обстоятельно говорить о нем, это отвлекло бы нас слишком далеко в сторону. Для Плевако понятие христианского милосердия было — как утверждает Маклаков — понятием естественным, а мало естественными, мало значительными, искусственными, выдуманными представлялись ему преграды и перегородки, которые люди установили будто только для того, чтобы помешать братскому общению. Близость к Победоносцеву ничуть не мешала Плевако благоговеть перед Львом Толстым. Он не был беспринципен, как можно было бы предположить, он со своей житейской беспечностью и Славянскими Базарами, со вкусом и страстью к жизни, был все-таки чуть-чуть "не от мира сего", и сознание его было свободно от многого, что опутывает людей обычного типа и кажется им необходимым.

Маклаков говорит об этих чертах Плевако с удивлением как о чем-то себе недоступном, но говорит без малейшей иронии. Он-то выбор сделал, он — не анархист, он выбрал право, а не любовь, выбрал законы, а не жалость и снисхождение. Но трудно решить, оставались ли у него сомнения в безусловной правильности выбора, или же "роковой конфликт" он в душе своей окончательно преодолел и убедился, что не только для него лично, но и для всех других, для людей вообще, иного пути нет.

Достойно внимания, что английские государст-

венные порядки еще в молодости вызвали восхищение Маклакова, и что до конца жизни он своего отношения к ним не изменил. Он сам рассказал о своем разговоре с Толстым на эту тему, разговоре, кончившемя тем, что Лев Николаевич добродушно усмехнувшись, заметил: "а, поймал меня адвокат!". Только что вернувшись из Лондона, Маклаков расхваливал все, что в Англии видел. Толстой стал возражать, утверждая, что между Англией и Россией существенной разницы нет, что западные демократии ничем не лучше русского самодержавия, и так далее, в согласии со всем известными толстовскими взглядами. Маклаков спросил:

— А зачем же вы в таком случае хлопочете о переселении духоборов в Канаду?

Тут-то Толстой и признался, что "адвокат его поймал".

Если Маклаков и не считал Англию совершенным образцом политических и социальных установлений, то во всяком случае Англия представлялась ему государством наиболее благоустроенным из всех других. Самый английский консерватизм, английская приверженность к традициям были ему по душе и явно ему "импонировали". Именно это его англофилия, — внутренняя, нисколько не внешняя, не "англомания" в духе некоторых тургеневских героев, например Павла Петровича Кирсанова из "Отцов и детей", — заставляет задуматься: сознательно ли, умышленно ли отдал он предпочтение праву перед другим началом, пусть и высшим, но ведущим к государственному разложению? Проверил ли он себя и свои взгляды до конца? Отказался ли от сомнений? Ответить по всей вероятности следует утверди-

тельно. Но значителен не столько самый ответ, сколько то, что для Маклакова существовал вопрос.

Кому случалось наблюдать английскую жизнь, в частности английские судебные нравы, должен придти к убеждению, что Англия свой выбор сделала твердо и окончательно. Не то, чтобы в трудах какого-либо британского мыслителя, в поступках какого-либо английского государственного деятели вопрос был бы ясно поставлен и отчетливо решен: нет, но многовековая английская культура сама собой к решению пришла и на нем утвердила гражданственность, для нее незыблемую и верховную. Облик Англии в истории именно таков, и облик этот крайне далек от облика русского, поскольку мы в состоянии судить о нем по нашей литературе, даже и не увлекаясь сомнительными рассуждениями о "богоносце" (слово, кажется, один только раз вырвавшееся у Маклакова, но однако именно в статье о Плевако!). Едва ли есть в мире другая страна, где идея права, как основы общежития, глубже и прочнее вошла в жизнь, чем в Англии. Едва ли есть страна, где равенство всех без исключения граждан перед законом возведено в аксиому, не допускающую иных толкований, кроме точного и дословного. Англичанин, живущий в согласии с законом — человек действительно свободный, не знающий и не чувствующий над собой ничего сколько-нибудь похожего на "начальство". Если он верит в Бога, начальство для него — Бог, в ином случае — никто и ничто. Но при малейшем нарушении закона, он знает, что и надеяться ему остается только на закон. Суд сделает свое дело, не считаясь ни с чем, кроме закона, — и сделает его беспощадно, поскольку понятие пощады связано не столько со справедливостью, сколько с

милосердием. И "несчастненьким" человека, по суровому закону наказанного, никто в Англии не назовет.

Если я английских порядков и нравов коснулся, — к сожалению поневоле кратко, — то потому, что тема эта близка Маклакову и повидимому была предметом его постоянных размышлений. Сказать ведь, что англичане — народ сухой, бессердечный было бы крайне несправедливо: убедиться в том, что это не так, можно хотя бы по их отношению к детям или животным. Ничуть они не более жестоки, чем мы, русские, да впрочем — как правильно заметил в своих "Очерках" Милюков — пора бы согласиться, что все народы по природе одинаковы. Очевидно английская культура мало-помалу пришла к сознанию, что иного основания для общежития, кроме права и твердо соблюдаемого закона, найдено быть не может, а религиозное чувство с этим примирилось или с этим сжилось. Англия отбросила самый признак анархии, как бы ни были высоки мотивы, которыми можно было бы ее оправдать. Англия не пожелала "рискнуть", отказалась сделать то, что по Бердяеву, предлагал сделать Толстой, т. е. посмотреть, что будет, если положиться на евангельскую мораль. У Маклакова религиозное чувство не было настолько сильно, чтобы вызвать трагические колебания в выборе и решении. Его христианство было охлаждено до крайности, однако — и именно это важно, — оно не было искажено, т. е. не было перетолковано, урезано, препарировано с заранее намеченной целью уничтожить противоречие между ним и существующим порядком. В его сознании оно хранило первоначальную чистоту, и вероятно Маклаков склонен был бы повторить то, что в одном из

разговоров с канцлером Мюллером сказал Гете, как известно "язычник", но язычник всепонимавший: "в нравственной своей высоте христианство не может быть превзойдено". Для Маклакова право было необходимостью, а профессия уголовного защитника — служением ей. Но Плевако, который безболезненно подменил один идеал другим, и при это не только остался адвокатом, но именно в этой подмене и черпал свое адвокатское вдохновение, казался ему явлением иной, более высокой категории. Плевако, по его представлению осуществлял то, к чему звал Толстой, при том в чуждой, даже ненавистной Толстому области: оттого-то и оценил он его так высоко. Сам Маклаков за ним не пошел. Но о разладе между судом и совестью, о "роковом конфликте" он всегда помнил. За блестящим адвокатом был человек с живой, открытой всему человеческому душой, человек, понять которого можно приняв в расчет не только то, что он сказал или сделал, но и то, о чем промолчал или от чего отказался.

Маклаков и Толстой

Знакомство с Толстым и почти двадцатилетнюю близость к нему Маклаков в своих "Воспоминаниях" называет "великой удачей" своей жизни.

Впервые он увидел Льва Николаевича в гостиной московского губернатора Перфильева, когда был гимназистом второго класса. "Вошел, — вспоминает он, — господин в блузе и высоких смазных сапогах". Мальчика удивила внешность гостя, но большого внимания он на него не обратил, о чем пожалел после его ухода, так как уже читал "Детство". Жена Перфильева объяснила, что Толстой "вечно юродствует и вообще большой оригинал", но добавила, что это гениальный писатель и ему надо все прощать.

Уже будучи студентом Маклаков неожиданно встретил Толстого в Москве на улице.

"Он шел по Никитской, не узнать его сразу, было нельзя. В маленькой круглой шапочке, с большой, уже совершенно седой бородой, широкоплечий и еще мощный, он был точь-в-точь таким, каким его изображают его первые портреты в блузе в XII томе его сочинений. Я инстинктивно за ним пошел и не спускал с него глаз; забегал вперед, чтобы еще раз с ним повстречаться, завидовал тем, с кем он разговаривал. Подойти же к нему я не решился и ограничился созерцанием издали".

Знакомство состоялось в 1891 году, в связи с организацией помощи голодающим.

Маклаков считает этот год важным в истории русского общества и думает даже, что именно с него началось то оживление, которое сменило "спячку", охватившую всех после 1-го марта, и мало-помалу привело к событиям революционным. Некоторое сочувствие Маклакова толстовским настроениям и взглядам обнаружилось в связи с традиционными пиршествами и кутежами, которым отмечался в Москве Татьянин день, праздник Московского Университета.

В конце восьмидесятых годов Толстой поместил в "Русских Ведомостях" статью под названием "Праздник просвещения", в которой едко высмеивал и критиковал этот обычай. Статью москвичи прочли, вздохнули, покачали головами, однако от татьянинских ужинов с обильными возлияниями и либеральным красноречьем отказаться были не в силах. Настал голодный год. В тех же "Русских Ведомостях" появилось письмо в редакцию за подписью Студент. Автором его был юный Маклаков, утверждавший, что если Толстого не послушались раньше, то теперь устраивать кутежи было бы во всяком случае непристойно. Произвело ли именно это письмо должное впечатление, почувствовали ли неловкость москвичи сами, неизвестно: однако в очередную татьянинскую ночь рестораны оказались пусты.

В помощи голодающим Толстой, как известно, принял участие самое деятельное и горячее, хотя сначала был решительным противником всяких общественных начинаний этого рода, считая их проявлением лицемерия и лжи. В одном из своих воззваний, расходившихся по всей России, он сочувственно отозвался об идее некоего "калужского жителя":

идея заключалась в том, что помещики должны брать к себе крестьянских лошадей на зимнее прокормление, а весной возвращать их владельцам. Иначе лошадям угрожала голодная смерть. Маклакову удалось разместить у знакомых помещиков больше трехсот лошадей, и в воздаяние его заслуг и усердия друзья-толстовцы взяли его с собой ко Льву Николаевичу, когда тот приехал в Москву.

"Тогда я в первый раз его близко увидел и с ним говорил. Он прочел своим гостям какую-то статью, сидя за тем самым столом с решеткой, который изображен на картине Крамского. Все это казалось так естественно и просто, что я должен был заставлять себя понимать свое счастье и осмысливать, где я сижу... Потом я стал бывать у Толстых очень часто до самой смерти его. Это было для меня великой удачей. Литературные произведения Толстого знает весь мир; религиозные — знают не все, обыкновенно только частями и их не всегда верно понимают. Знать же живого Толстого, испытывать на себе его обаяние, было дано очень немногим".

О различных эпизодах своей близости к Толстому Маклаков любил вспоминать и рассказывать, и каждый, кто с Василием Алексеевичем встречался. эти рассказы, конечно, слышал. Замечали, вероятно, его друзья или знакомые, и то, как он оживлялся, говоря о Толстом, будто для него эти далекие воспоминания были самым дорогим из всего, что он в памяти своей сохранил. Приблизительно так же, с таким же волнением, — не то, чтобы почтительным, а благоговейным, — рассказывал о Толстом Бунин, человек совсем иного склада, чем Маклаков. Здесь они сходились, — хотя Бунин, в противоположность маклаковским словам о естественности и простоте,

всегда подчеркивал в своих рассказах тот страх, который охватил его при виде Толстого и говорил о его необыкновенных, "каких-то рентгеновских" глазах. (Кстати, Маклаков вспоминает, как в Ясную Поляну отправился Влас Дорошевич — "человек зубастый и самоуверенный" — чтобы поспорить с Толстым о Шекспире и доказать ему его ошибку. Спора не вышло. "Дорошевич" "скиксовал", а в оправдание свое сказал Маклакову: "Вы бы посмотрели на его глаза!").

Из рассказов Маклакова о Толстом, — рассказов, повторяю, которыми он до глубокой старости сам увлекался, — выделить что-либо особенно яркое трудно. Интересно и даже значительно почти все: одно — в отношении скорее бытовом или историческом, как эпизод на съезде натуралистов, другое — для понимания Толстого, а иногда и самого рассказчика.

Московский съезд натуралистов заинтересовал Толстого потому, что на нем должен был быть прочитан доклад против Дарвина. Толстой Дарвина не долюбливал, но не обладал достаточными знаниями, чтобы свое отталкивание от теории "происхождения видов" обосновать, — и захотел научный доклад прослушать. Было это в середине 90-х годов. Маклаков с приятелем провели Толстого в зал, когда заседание уже началось, и посадили за колоннами, где никто его видеть не мог. Но каким-то образом публика о его присутствии узнала. Докладчика перестали слушать. Все шептались, приподымаясь с мест, а то и убегали из зала в поисках Толстого. При таком волнении и шуме продолжать заседание было невозможно. Председатель пошел к Толстому, стал его упрашивать сесть за стол на эстраде, где

сидели другие профессора. Тот отнекивался, но, наконец, сдался: вышел из-за колонн, сел на эстраде. Все повскакали с мест, стали кричать, аплодировать, махать платками. Толстому пришлось встать, кланяться и доклад кое-как был дочитан. На улице, после конца собрания, его нагнал Маклаков, и был удивлен тем, с каким непривычным для него раздражением Толстой сказал: “Это вы во всем виноваты... это вы все подстроили!”

Вспоминал Маклаков и то, как к Толстому впервые приехал Чехов, но долгого их разговора после завтрака, в кабинете, с глазу на глаз, не слышал. Помнил только, что после этого разговора Чехов смущенно качал головой и все повторял: “Ну, человек!”.

А для характеристики самого Маклакова и его редкой внутренней скромности стоит привести рассказ о прогулках с Толстым по Москве.

Василий Алексеевич был в то время еще студентом. Толстой все чаще стал приглашать его на совместные прогулки по городу, и помимо того, что это было Маклакову лестно, ему “забавно было наблюдать физиономии тех, кто неожиданно Толстого узнавал”. Но вместе с тем он удивлялся: зачем Толстой заставляет его рассказывать о студенческой жизни, что может ему в рассказах о ней быть интересного? Зачем вообще ему нужен на прогулках спутник, да еще такой, который годится ему во внуки?

“Позднее я это понял: дело оказалось проще, чем можно было подумать. Когда в моду вошли велосипеды, Толстой, несмотря на свои годы, любил ездить на них. Я его как-то спросил в Ясной Поляне, зачем он берет велосипед, а не ездит верхом? Он

мне тогда объяснил, что ему бывает нужен некоторый полный умственный отдых. Если он ходит пешком или ездит верхом, это думать ему не мешает и его мозг не отдыхает. Если же он едет на велосипеде, то должен следить за дорогой, за камнями, колеями и ямками; тогда он не думает. Я понял, почему мои рассказы были ему нужны во время наших прогулок. Он мог их не слушать, но они ему мешали думать и его мозг мог отдыхать".

Строки эти замечательны. В самом деле, писали о Толстом очень многие, и не то, чтобы каждый из писавших непременно стремился покрасоваться, исподволь дать понять, как Толстой его ценил, или привести какой-нибудь свой удачный ответ в беседе с Толстым: нет, в бесчисленных вариациях на тему "я и Лев Николаевич" не мало записей, лишенных всякого самолюбования. Но другого столь же чистосердечного объяснения предположения, почему Толстой любил с рассказчиком разговаривать, я не помню. Если бы даже объяснение и не было верно, достойно внимания то, что Маклаков считает его наиболее правдоподобным.

Толстой говорил о людях: "Всякий человек есть дробь, где числитель — то, чего он стоит, а знаменатель — то, что он о себе думает".

Оттого вероятно он Маклакова и выделил, что почувствовал у него малость знаменателя по сравнению с числителем.

Толстой сразу, с первых же встреч, обворожил Василия Алексеевича, — обворожил и удивил. "Он, — вспоминает Маклаков, — оказался совсем не похожим на то, что можно было бы от него ожидать". Чего ждал молодой поклонник от великого писателя,

к тому времени уже смотревшего на “Войну и мир” и “Анну Каренину” как на пустую, вредную забаву? Очевидно проповедничества, суровой нетерпимости, постоянных поучений, наставлений и обличений. А на деле встретил человека, который все понимал, на все откликался, взглядов своих никому не навязывал и “никому не старался импонировать”. Человек этот произвел на Маклакова глубочайшее впечатление, и впечатление это не только не потускнело с годами, а наоборот делалось все ярче и значительнее по мере того, как Василий Алексеевич забывал другие встречи и других людей. О Толстом Маклаков написал несколько статей и две небольшие книжки (“О Толстом” и “Толстой и большевизм”).

Без преувеличения можно сказать, что эти статьи и книжки — лучшее, что вообще о Толстом написано, и уж конечно самое ценное, самое долговечное из всего, написанного Маклаковым.

Необходимо однако пояснение. Литература о Толстом очень велика, и пожалуй в ней можно указать на исследования более оригинальные, блестящие и даже может быть более глубокие, чем книги Маклакова. Но как нередко бывает в критике, авторы этих исследований, — или статей, относящихся к разряду “взгляд и нечто”, — не считают нужным стушеваться перед тем, о ком они говорят, и заняты не столько своим предметом, сколько самими собой. Отвергать без оговорок такую критику нет причин, и несправедливо было бы думать, что объяснение ее — в несоразмерной величине “знаменателя”. Для некоторых писателей, по природе нуждающихся в умственном, вернее тематическом, трамплине, она — самый естественный способ выражения своих мыслей, порою чрезвычайно интересных и ценных. Мне вспо-

минается, например, статья философа Алена (Alain) об "Анне Карениной", романе, который он по своему признанию перечел, не пропуская ни одной страницы, пять раз: статья тончайшая, удивительная в своих воздушно-абстрактных построениях и выводах. Однако я не уверен, что если бы Толстому дали прочесть ее с пропуском собственных имен — Анна, Вронский и т. д. — он сразу понял бы, что речь идет о нем. В нашей литературе есть необычайно яркий образем отстранения, оттеснения на задний план личностью говорящего личности и творчества того, о ком он говорит: речь Достоевского о Пушкине. Давно пора бы согласиться, что о Пушкине узнать из нее можно не много, однако при всей шаткости своих выводов, при всей своей ораторской взвинченности, это бесспорно — документ ценнейший и в развитии русской мысли очень важный. Знаменатель — кто же этого не почувствует? — был у Достоевского размеров довольно внушительных, и при том находился в каком-то непрестанном, нервном беспокойстве о самом себе, но и числитель ему не уступал.

Конечно, Достоевских на свете мало и искать их среди обыкновенных литераторов было бы делом тщетным. Утверждая, что в ряду тех, кто о Толстом писал, можно найти авторов более оригинальных, чем Маклаков, я вовсе не какого-либо гениального фантазера имею в виду. Но нельзя забыть, например, Льва Шестова, мыслителя столь же своеобразного, сколь и проницательного, упорно и большей частью успешно, с какой-то маниакальной настойчивостью, доискивавшегося того, что от других скрыто, нельзя обойти молчанием кое-что, — правда, немногое, именно только "кое-что", — из раннего

Мережковского, а тем более из Бердяева. Представим себе однако, что кто-нибудь спросил бы: что следует о Толстом прочесть в помощь пониманию личному, нередко отягченному недоумениями и помощи требующему? где найти книжки, в которых было бы рассказано и растолковано без отступлений от темы, без личных комментариев, а в особенности без личных, попутных возражений, без стремления к спору, — где найти книжки, в которых Толстой предстал бы таким, каким он со всеми своими сомнениями и мучениями был? Ответить следует: прочтите Маклакова. Сначала прочтите "Исповедь", "В чем моя вера?", "Так что же нам делать?", а затем, если не все окажется ясно, обратитесь за помощью к Маклакову. Никто не склонился перед Толстым проще и естественнее, никто лучше и полнее не понял великой важности толстовских мыслей, пусть и отдавая себе отчет в их практической неосуществимости, и не скрывая своего бессилия принять их к жизненному руководству.

Маклаков всегда о Толстом помнил, но не старался ему подражать. Насиловать себя он не стал. Но признав "великой удачей" своей жизни близость к Толстому, он нашел в себе достаточно скромности, ума, а в сущности и достаточно внутренней силы, чтобы в своей передаче, в своем изложении и объяснении толстовских взглядов отказаться от себя, отбросить произвольные догадки. Единственное, что Маклаков постоянно подчеркивает, это то, что пока наш мир остается таким, как он есть, мысли Толстого для него неприемлемы, и пока человек дорожит обычными жизненными благами, эти мысли ему не по силам.

"Я не толковать хочу учение Христа, я хотел бы

запретить, чтобы его толковали", — писал Толстой, утверждая, что Христос "сказал то, что сказал" и что произвольное толкование простых и точных слов сводится к искажению их смысла ("В чем моя вера?").

Маклаков на это утверждение ссылается не раз и без колебаний признает за Толстым право считать его своим руководящим принципом. Характерны в этом отношении его замечания о соловьевских "Трех разговорах", к которым он тоже возвращается не раз, — книге блестящей и однако, позволю себе сказать, при всем своем умственном и стилистическом блеске достойной навеки остаться образцом слепого, невпопад бьющего и крайне самоуверенного полемического задора. Невозможно отрицать исключительную умственную одаренность Соловьева. Его ум, его разум — едва ли не самый острый, подвижной, находчивый, в каком-то смысле даже самый бойкий, во всяком случае логически самый сильный во всей нашей литературе, этими свойствами менее богатой, чем другими. Сочетание гибкости, отчетливости, изворотливости умственных выкладок с мистическими туманами, сознание его обволакивавшими, у Соловьева удивительно. Но понять Толстого он повидимому органически не мог, и неизменно раздражаясь при столкновении с ним, высокомерно не допуская ничего себе недоступного и непонятного, он иногда договаривался до чудовищных нелепостей. Так, в тех же "Трех разговорах" он предсказал, что "Баллада о камергере Деларю" Ал. Толстого, — произведение, конечно, забавное, но из категории тех шуточек, пародий и экспромптов, которыми в конце прошлого века с несколько загадочным увлечением и несколько медвежьей грацией предавались

почтенные, уважаемые литераторы, большей частью седые бородачи, — предсказал, что баллада эта переживет "Войну и мир" и "Анну Каренину"*). В тех же "Трех разговорах" приведен для опровержения теории непротивления злу знаменитый, — или в данном случае лучше сказать пресловутый, — пример с маленькой девочкой, над которой некий "мерзавец" собирается совершить "гнусное злодеяние": что же делать отцу? оставить "мерзавца" в покое?

Логически пример убедителен и Соловьев, приведя его, заранее торжествует. Маклаков согласен, что если произвольно выделить этот пример из всего, что в целом составляет жизнь, мир, нашу якобы "христианскую" цивилизацию, ответить нечего. Но тут же, в "Толстом и суде" он пишет:

"Это возражение обнаруживает полное непонимание Толстого, пропасть в исходной точке, и свидетельствует о безнадежном и неустранимом разномыслии... Мировоззрение Толстого нельзя брать по частям, в отдельных его проявлениях. Его можно только целиком принять или отвергнуть".

Правильнее не скажешь. Общая оценка, данная Маклаковым соловьевскому спору с Толстым, совершенно верна, и не случайно он, много лет после

---

*) Соловьев, правда, не называет толстовских романов, но намек ясен, тем более, что задор всей книги именно против Толстого и обращен.

Вспомнив «Балладу» г. Z., выражающий мысли автора говорит:

«У меня нет ни малейшего сомнения, что когда герои иных всемирно-знаменитых романов, искусно и серьезно распахивающих психологический чернозем, будут только литературными воспоминаниями для книжников, этот фарс сохранит всю свою художественную и философскую правду».

На что «дама», участница беседы, довольно резонно восклицает:

«Ну, я вашим парадоксам не верю».

статьи о "Толстом и суде" снова к "Трем разговорам" вернувшись, охарактеризовал их, как книгу "салонную". Как беспощадно метко! Дело ведь вовсе не в несчастной девочке, не в еще более несчастном отце ее, как и не в тигре, внезапной встречей с которым сторонники "сопротивления" пугали Толстого, — на что тот отвечал: "вот, сколько лет я живу на свете, а тигра ни разу не встречал!", — дело в том, что Толстой думал о коренном изменении и преображении всего человеческого существования, в котором зло должно бы исчезнуть, растворившись в пустоте. Он не был безразличен ко злу, не призывал к безучастному его созерцанию, нет, он верил, что зло нельзя искоренять злом и что при таком методе борьбы со злом количество его в мире будет продолжать расти. Злу должно быть противопоставлено то, что в самой природе ему противоположно, — любовь. По удачному выражению Бердяева Толстой предложит "рискнуть миром", будучи убежден, что при согласии на то, что людям кажется риском, т. е. при подчинении той воле, которую христиане считают волей божественной, Бог в нашу жизнь вмешается и наладит в ней мир, добро и правду. Соловьев был и от такой веры, и от таких надежд крайне далек, и не без удивления Маклаков говорит о том, что он "сочетал в себе веру в Христа, как в Бога, с умом государственным". Удивляться в самом деле есть чему! Впрочем, Соловьёв был в этом отношении сравнительно последователен, т. к. склонялся к католицизму. Гораздо противоречивее и гораздо удивительнее, скажу мимоходом, позиция Достоевского, соединившего страстное отталкивание от католичества с крайним политическим консерватизмом и защитой государственного принуждения во всех его

формах, на победоносцевский лад. По Толстому Победоносцев — если Топоров в "Воскресении" это он, — "ни во что не верил и относился к поддерживаемой им религии как куровод относится к падали, которою он кормит своих кур". Но Достоевский-то верил.

В писаниях Маклакова о Толстом особенно замечательно то, что будучи профессиональным юристом и убежденным государственником, он оказался в состоянии до конца понять тревожный дух мыслителя, считавшего всякий правовой и государственный строй торжеством зла и лжи. Для Толстого не было ничего лицемернее, ничего нелепее такого словосочетания, как "христианская культура", к нашему миру постоянно применяемого. Маклаков тут не вполне с ним согласен, Маклаков считает, что некий компромисс с христианством европейская культура все-таки наладила, кое-что от христианства переняла, но в отказе Толстого от сделок с совестью и в толстовском нравственном максимализме он видит истинное величие, — тем более, что не сомневается в искренности Толстого и в совершенном отсутствии притворства, порой ему приписываемого. (Лет двадцать тому назад, один известный французский писатель, даровитый и неглупый человек, в книге, посвященной Толстому и восхваляющей его художественный гений, решился сказать, что по части саморекламы и выдумыванию разных "трюков" с целью обратить на себя внимание, Толстой в старости мог бы дать сто очков вперед Сергею Дягилеву! Поистине, бумага все терпит).

Вскользь Маклаков говорит:

"Государство, конечно, выиграло от соприкос-

новения с христианством. Но христианство было принижено до немощей человеческой природы".

Толстой с немощами не считался, — вероятно потому, что в нем самом их не было. Людям он предъявлял требования, которые, при всем его психологическом ясновидении, не казались ему чрезмерными. Маклаков был бесконечно трезвее, рассудочнее, но ни в одной строчке, ни в одном слове он не позволил себе сделать Толстому какой-либо упрек. Больше того: будучи сам человеком склада скорей светского, чем духовного, человеком светского душевного строя и образа мыслей, он недоумевал, как могут люди, считающие себя христианами, толстовское нравственное учение отвергать и с Толстым спорить.

По рассказам одного из друзей Василия Алексеевича, у него однажды во время последней войны, когда в Париже были немцы, вырвались очень характерные слова.

Кто-то при нем рассказывал, что Гитлер будто бы ненавидит Толстого и даже обозвал его "сумасшедшим болтуном". Маклаков сразу оживился, нетерпеливо перебил говорившего и воскликнул: "Он совершенно прав! Это я прекрасно понимаю! Для Гитлера ведь и Евангелие — сумасшедшая болтовня. Но вот иных наших церковников, которые считают, что Толстой говорил глупости, вот их я понять не могу!"

К такой "переадресовке" — нигде в маклаковских статьях о Толстом открыто и отчетливо не формулированной, но всюду заметной, — сводится в сущности то важнейшее, что о Толстом он написал. Если бы сказать, что Маклаков защищает Толстого, возражение возникло бы само собой: Толстой в за-

щите не нуждается. Но при теперешних наших нравах, при склонности к "переоценке ценностей", порой чисто нигилистической, при послереволюционном ослеплении и озлоблении защита бывает нужна. Есть люди, несущие бесстыдную чепуху о Дягилеве, есть и другие, с пеной у рта доказывающие, что если кто нибудь должен бы ответить за развал русского государства и в конце концов за большевизм, то прежде всего Толстой. Маклаков правды никогда не скрывает и ничего не затушевывает. Отрицать того, что Толстой был ярым и деятельным противником русской монархии, он не склонен. Но с полной убедительностью он в "Толстом и большевизме" показал, что если бы провести водораздел, то весь современный мир, — капиталистический, коммунистический, какой угодной иной, — оказался бы на одной стороне, а Толстой — на другой.

"Толстому, — пишет Маклаков, — были бы ненавистны насилия большевиков и самые мотивы, которыми они себя оправдывали бы. Но ему было также ненавистно и то насилие, которому мы когда то радовались и которое в свое время оправдывали. Всякая революция, делаемая из самых лучших побуждений, вызывала в нем одно отрицание, Я помню его отношение к революции 1905 года. Он говорил о ней с осуждением. Я помню его в день убийства Сипягина; кругом него радовались, думая, что это убийство может быть переломом, переходом к лучшей политике, он же огорчался, и не столько оттого, что убит Сипгин, сколько оттого, что этим могли восхищаться. Насилие, которое для него всегда было злом, становилось ему особенно ненавистно, когда им преследовались такие цели, которые были ему симпатичны, когда это насилие защищали люди, к

которым он хорошо относился. Революция 1905 года отталкивала его не потому, что он боялся за существующий строй, который она разрушала. Строем этим он совсем не дорожил. Но она была для него ненавистнее, чем то правительственное насилие, с которым она боролась, именно потому, что революционное насилие направлялось не против людей, ему близких, а ими самими, и во имя начал, которые были ему симпатичны. Мы, его окружавшие, мирились с насилием потому, что оно направлялось в нужную стороны, а Толстой именно от этого огорчался.

Вот почему, если бы он дожил до большевизма, он обрушился бы на него всей силой своего убеждения. Но **нашего** возмущения он бы не разделил и сказал бы, что именно **мы** ответственны за большевистские ужасы, что сейчас повернуто против нас **наше собственное мировоззрение**... Если некоторые из нас думают, что он повинен за большевизм, то он то же самое сказал бы про нас, и в этом его утверждении было бы больше правды и логики, чем в том, что мы говорили бы про него".

По Маклакову у нас с большевизмом нечто вроде "домашнего спора". Он подчеркивает, что конечный идеал большевизма, т. е. истинное коммунистическое жизнеустройство имеет до крайности мало общего с порядками, царящими в России. Но изобразив идеальное коммунистическое государство, он тут же спрашивает:

"Что мы, люди мира, могли бы сказать против подобного строя?"

В нем, в этом строе "каждый обязан трудиться на общую пользу, но за то каждый и получает от государства все, что ему нужно. Государство издает

в этом направлении законы, судит и карает за их нарушение, силой приводит их в исполнение. Сохраняются все обычные аттрибуты государства: суд, полиция, войска. Будет поддерживаться внешний порядок, будут чиновники, весь административный аппарат, предупреждающий беззакония и своеволия. Только вся эта машина будет направлена к новой цели, к тому, чтобы все отдавали всю свою жизнь, весь свой труд государству, несли равную обязанность работать не на себя, а на пользу государства, где не будет привилегированных и обиженных, слабых и сильных. Таков коммунистический идеал. Что мы можем против него сказать?"

Маклаков приводит обычные возражения, но утверждает, что ни одно из них не **принципиально.**

"Не соглашаясь с возможностью и даже желательностью подобного строя, нам, людям мира, **не за что его ненавидеть...** Страстность наших нападок направлена не на идеал большевизма, и на практическое его проявление".

Не то — Толстой. Спор его с миром — именно об идеале, и спор этот и гораздо глубже, и связан с более значительными отказами или осуществлениями. Если бы Маклаков в своей защите Толстого от обвинений в способствовании развалу царской России поставил все точки на "i", то в согласии с высказанными им взглядами должен был бы своим противникам сказать приблизительно следующее: "да, действительно, Толстой развалу способствовал, но только потому, что русская монархия, считавшая себя государством христианским, на деле им не была. Для Толстого евангельское учение было дороже, выше и даже разумнее любых государственных прин-

Из собрания А. Полонского.

ципов, всех без исключения. Если для вас это не так, если в вашем представлении былое русское государство есть ценность высшая, а начала, возвещенные в Евангелии, ценны лишь "постолько — поскольку", т. е. лишь в той мере, в какой их можно было примирить с русским государственным строем, вы в своих нападках правы. **Но только при этом условии"**.

О художественном творчестве Толстого Маклаков говорит мало и редко, очевидно считая, что тут в самом деле всякое стремление к защите было бы смешно, да к тому же и ссылаясь на свою "некомпетентность". Но мимоходом он делает отдельные очень верные замечания и в частности правильно утверждает, что перелом в духовной жизни Толстого был менее резок, чем принято считать. Правда, в конце семидесятых годов Толстого с внезапной и страшной силой поразила мысль: как можно жить, работать, заботиться о себе и о близких, зная, что все кончается смертью? — о чем короче и ярче всего рассказано в сравнительно мало известных "Записках сумасшедшего". Перелом именно с этой неотступной мыслью был связан. Но разве в ранних "Трех смертях", — единственном толстовском произведении, которое Соловьев согласился назвать гениальным, — или еще более раннем "Люцерне" не сквозит тот же ужас? "Так жить, как живем мы все, нельзя", сказал себе Толстой еще в молодости. Маклаков, скончавшийся в глубокой старости, жил не по-толстовски, он любил жизнь, умел жить, принимая с увлечением участие в разнообразных ее видах и формах. Маклаков жил "с аппетитом", как сказал бы Тургенев. Но до конца дней он остался верен памяти своего великого старшего друга, отстаивал его значение, радовался встрече с ним и сознавал, утверждал, до-

казывал не только свое, но и наше общее в сравнении с ним ничтожество.

Летом 1958 года эта глава была помещена в сокращенном виде и с небольшими изменениями в двух газетах — нью-йоркском «Новом Русском Слове» и парижской «Русской Мысли». В связи с ней я получил несколько писем с замечаниями, возражениями или, наоборот, выражением согласия.

Одно из этих писем настолько интересно, что я считаю нужным привести из него. — с разрешения автора Н. В. Вольского (Валентинова) — следующий отрывок:

«Осенью 1912 года — вспоминает Н. Вольский — в столетнюю годовщину бородинского сражения, Дорошевич вместе с Маклаковым заехали за мною, чтобы ехать вместе в Бородино (я был тогда помощником редактора «Русского Слова»). Мы два часа провели на поле сражения, обсуждали, как и в какой обстановке оно велось, где стояли русские войска, откуда наступали французы и т. д. Вполне естественно, что зашла речь и о том, в какой степени Толстой верно описал Бородино. Дорошевич поставил вопрос: нет ли чего-то почти нелепого, выдуманного в описании Толстого? Я ответил, что по-моему такой неудачной художественной выдумкой нужно считать присутствие во время сражения Пьера Безухова, этого странного штатского с белой шляпой и в зеленом фраке, на которого с удивлением смотрели офицеры и солдаты. «Эх, барин, не место тебе тут!». Дорошевич расхохотался: на нелепость присутствия Пьера, сказал он, я и хотел указать! Нужно было видеть, с какой страстью накинулся на нас Маклаков, доказывая, что Толстой **никогда** «нелепых» фактов не выдумывал и что все, и всегда в его описаниях соответствовало мыслимой действительности. Присутствие такого лица, как Пьер, на поле сражения нашего **времени**, конечно, невозможно, но мы упускаем из виду, что прежние битвы были совсем иными. Маклаков защищал описание Толстого бородинского сражения с таким пылом, что Дорошевич насмешливо ему сказал:

— Я не знал, что вы — такой толстовец!

После этого разговор перешел от художественных произведений Толстого к его моральной и религиозной философии. Дорошевич (да и я) руками от удивления развели, когда услышали от Маклакова, что и в этой области он во многом следует за Толстым.

— Позвольте заявить, Василий Алексеевич, что я не могу думать, что вы серьезно это говорите! Уж очень вы не аскет, уж очень ваша жизнь отклоняется от заповедей Толстого.

На это последовал следующий ответ Маклакова, передаю его почти стенографически:

— Я не говорю, что Толстой меня сделал или мог сделать святым, но из сочинений Толстого, вне личного на меня влияния Толстого, я усвоил ряд идей, вошедших в мое мировоззрение. Плохо или хорошо, это другой вопрос, но этими идеями я и стремлюсь руководиться в моей общественной и политической деятельности.

Маклаков указал, что, например, ненависть к войне ему внушил Толстой. Более чем отрицательное отношение к революциям внушил тот же Толстой. Отрицание смертной казни вошло в него не от Тургенева и Вл. Соловьева, а только от Толстого. «В Государственной Думе мне пришлось выступить против смертной казни, и должен сказать, что если в этой речи был моральный пафос, то он шел от Толстого, и, произнося речь, я все время думал — быть с Толстым и в качестве высшей награды услышать, что он меня хвалит».

С удовлетворением я позволю себе отметить, что рассказ Н. Вольского совпадает с моим представлнием об отношении Маклакова к Толстому и подтверждает мною написанное. Что же касается Пьера на бородинском поле, то Маклаков, конечно, прав: в те времена было возможно многое, что теперь немыслимо. Основательно утверждал Алданов, что в «Войне и мире» есть спорные исторические портреты, — Наполеон, Кутузов, Сперанский, — но фактических ошибок, кроме двух-трех совершеннейших мелочей, нет.

Политика

I

Скорбные и вместе с тем страстные, порой запальчивые, политические размышления, которым предавался Маклаков в течение последних десяти лет своей жизни: отчего произошло в России то, что произошло? кто виноват? можно ли было предотвратить катастрофу? — размышления эти ни у кого из русских не могут вызвать интереса исключительно "академического". Да, говоришь себе, это — история, это — прошлое, и притом уже довольно далекое. Но многие из нас еще помнят это прошлое, как его участники или, по крайней мере, как его свидетели. Последствия этого прошлого неисчислимы, и каждый русский, где бы он ни жил, в чем бы ни состояла его деятельность, их на себе испытывает. Иногда приходится слышать заявления вроде того, что "я, мол, политикой не занимаюсь, моя хата с краю!" Ответ возможен только один: "Вы-то политикой может быть и не занимаетесь, но политика занимается вами". Политика в тех ее видах и формах, которые она приняла в первой четверти нашего века в России, властно "занялась" всеми нами, и даже те, кто по возрасту или умственному своему складу, стоял тогда в стороне от нее, кто хотел быть "с краю", теперь читая и перечитывая Маклакова, втягиваются в спор и пытаются дать себе отчет,

когда и кем были сделаны роковые, непоправимые ошибки.

Книги и статьи свои на эти темы Василий Алексеевич писал в эмиграции, писал оглядывая прошлое как бы "с птичьего полета", видя и зная то, о чем в гуще событий мог и не догадываться. При чтении возникает впечатление, что автор отчетливо предвидел будущее и от него предостерегал. Было ли это так на самом деле? В "Воспоминаниях" Маклаков пишет, например:

— Я считал революцию очень реальной опасностью... Она могла оказаться для правового порядка не меньшим врагом, чем самодержавие.

Но тут же, двумя страницами дальше, признается:

"Полностью мы увидели это в 1917 году".

Если явного, резкого противоречия между этими двумя утверждениями и нет, то все же закрадывается сомнение, не обольщается ли Маклаков, не изменяет ли ему память, и действительно ли он и до революции готов был идти на любые уступки, только бы избежать ее, как худшего из зол. Правильно говорит М. В. Вишняк в давней статье, посвященной разбору только что тогда предпринятой Маклаковым "переоценки ценностей":

"Когда в прошлое переносят нынешнюю психологию, совершают ошибку исторической перспективы" ("Современ. Записки" 1929 г. № 38).

В самом деле некоторые речи, статьи или действия Маклакова, относящиеся к дореволюционному времени, заставляют думать, что и он, при всем своем прирожденном консерватизме, оказался увлечен "разрушительными тенденциями" — по его собственному выражению — русской общественности, а су-

губая бережность и осмотрительность в отношении существовавшего строя пришла к нему позже, когда строй этот исчез. Были в русской литературе "кающиеся дворяне". Маклакова можно назвать "кающимся либералом". Каялся же он от лица всего русского либерализма и былых его руководителей, не столько пытаясь себя от него отделить или себя в нем выделить, сколько подчеркивая, что в тот сравнительно короткий период, когда были совершены главные ошибки, он лично крупной политической роли еще не играл и большого влияния не имел.

Упреки Маклакова сводятся к двум утверждениям.

Первое — русская либеральная общественность должна была и могла пойти на сотрудничество с исторической властью, которая ее к этому настойчиво приглашала.

Второе — русский либерализм изменил своему назначению и сам себе вырыл могилу, заключив тактический союз с революцией.

Кстати, стоит отметить, что Маклаков большей частью пишет вместо "революция" — "Ахеронт". Психологически это довольно любопытно, и если не ошибаюсь, он один в наше время словом этим еще пользовался. Ахеронт — условный термин, к которому в былые годы прибегали некоторые политические писатели во избежание столкновения с цензурой. "Ахеронт" сходил с рук, там, где "революция" могла бы вызвать начальственный окрик. Выражение взято из Виргилия:

"Если не могу склонить богов, двину Ахеронт..."

И у древнего поэта, и даже по своему звуковому составу слово как бы таит в себе угрозу. Ужас перед революцией, — перед революциями вообще, во-

преки юношескому увлечению 1789 годом, — у стареющего Маклакова с каждым днем все усиливался, и он сохранил в памяти ее условное, страшное имя.

Главным виновником того, что русский либерализм отказался от сотрудничества с исторической властью, Маклаков считает своего бывшего партийного лидера Милюкова. Он называет его по имени несколько реже, чем вероятно хотел бы, не будь многолетних, если и не дружеских, то все же корректных отношений, но не скрывает, что в его представлении на скамье подсудимых в качестве первого обвиняемого должен бы сидеть именно Милюков. Это он, Милюков, оппозицией руководил, он всему давал тон, он всюду воздвигал препятствия и ставил заведомо неприемлемые для власти условия, именно тогда, когда и царь, и Витте, или позднее Столыпин были готовы наладить с либерализмом мир и сотрудничество. Он, Милюков, сказал исторической власти "если нет, так нет", он предпочел искать опоры в революции, и вспоминая это, Маклаков едва-едва удерживается от повторения знаменитого вопроса, поставленного вождем кадетской партии по другому поводу: глупость или измена? Впрочем, вопрос этот Маклаков повидимому склонен был бы обратить и к большинству либералов, даже таких умеренных, как Шипов, а о левых и говорить нечего. В частности, если перечесть книгу о "Первой Государственной Думе", полную сарказма и недоумения, представляется парадоксальным, что на Выборгском процессе Маклаков членов этой Думы защищал. Пусть они и знали о его отрицательном отношении к их действиям, пусть ограничился он в своей речи толкованием двух статей закона и доказывал невозможность применения более суровой из них: будь Му-

ромцеву, или Винаверу, или Кокошкину тогда известно, что Маклаков впоследствии о "Думе народного гнева" скажет, они вероятно от его защиты отказались бы. Да пожалуй и он сам, при позднейших своих настроениях, за защиту не взялся бы: как ни как, это все же была защита Ахеронта!

Милюков на обвинение ответил, — сначала в своей газете "Последние Новости", затем двумя большими статьями, помещенными в "Современных Записках" ("Суд над кадетским либерализмом", С. З. № 41, "Либерализм, радикализм, революция", С. З. № 57). Замечательно, что не будучи в большинстве случаев полемистом снисходительным и мягким, он в своих возражениях Маклакову известную долю этих свойств проявил. Милюков в столкновении с Маклаковым мягче, нежели Маклаков в отношении Милюкова, особенно в позднейших своих писаниях. Но неожиданное добродушие не может скрыть того, что Милюков возражает своему оппоненту чуть-чуть свысока, как старый, умудренный опытом профессор говорил бы с талантливым любителем, и вскользь замечает о Маклакове, что "политика не составляет сильной стороны этого выдающегося деятеля". Милюков читает Маклакову лекцию по новейшей русской политической истории и даже для ответных упреков находит формулы завуалированные: например "добровольное непонимание событий". В переводе на язык обычный "добровольное непонимание событий" значит умышленное их искажение.

Позволю себе, в порядке короткого отступления, в самом сжатом виде, передать те чувства, которые сами собой возникают при чтении обоих авторов, одного вслед за другим: доводы Милюкова убедительнее, картина им нарисованная, в целом

правдоподобнее и, что особенно важно, трагичнее в своей безвыходности. Но в пользу Маклакова говорит то, что у него есть сознание вины и ответственности, сознание ошибки, пусть он и не всегда ищет ее там, где надо бы. Ошибка ведь наверно была, и едва ли найдется сейчас на свете русский человек с неослепленным злобою умом, с незамутненной совестью, который этого не чувствовал бы. Ошибка была с обеих сторон, пусть и в неравных долях. Нельзя же сомневаться, что если бы тогдашние деятели, правительственные или общественные, предвидели будущее, то соглашение легко состоялось бы, а уступки, казавшиеся невозможными, были бы сделаны с величайшей готовностью. Не предвидел будущего никто, и только с признанием этого спор о причине крушения русского государства поднимается на ту высоту, где исчезает личное самолюбие спорящих. Предпосылка моральная в этом споре так же необходима, как историческая объективность. У Милюкова смущает то, что он в сознании своей правоты невозмутим, и требует для своей деятельности оправдательного приговора и от будущего.

Защита, или вернее апология Витте во вступительной главе второго тома "Власти и общественности" принадлежит к блестящим страницам, написанным Маклаковым. В характеристике Витте, как "одной из самых замечательных фигур нашего времени" ничего оригинального, впрочем, нет: с этим более или менее согласны все. Насчет "исключительных государственных дарований" мнения более противоречивы: тот же Милюков, признавая Витте "бесспорно большим человеком", замечает, что был он при этом "плохим политиком и великим карьеристом". Но вот где Маклаков высказывает суждение

действительно необычное: он убежден, что Витте был человеком глубоко искренним, что Витте "никогда не хитрил". Впечатление такое сложилось у Василия Алексеевича, когда он, после короткой встречи в Петербурге, ближе познакомился с Витте на ежедневных утренних прогулках в Виши. Бывший всесильный сановник был давно уже не у дел и мог обо всем говорить с полнейшей непринужденностью. Однако и государственная его деятельность не вызывает у Маклакова тех подозрений и упреков, которые постоянно Витте делали, а утверждение Милюкова, будто Витте потерпел политическое поражение потому, что "сразу ставил на две карты", представляется ему вздором. С возмущением Маклаков вспоминает, что после роспуска Первой Думы член партии 17-го октября Бобрищев-Пушкин публично заявил:

"Имя графа Витте, как политически нечестное, навсегда вычеркнуто из истории России".

"И такое заявление, — пишет он, — по адресу автора (подчеркнуто у М.) 17-го октября было поддержано оглушительными аплодисментами на собрании Союза 17-го октября!"

Правда такие же чувства вызывает у Маклакова и отношение Государя к своему министру, любимцу его отца (умирая, Александр III будто бы сказал сыну: "Слушайся Витте"). "Не прислал венка, не выразил вдове сожаления", с грустью пишет он, вспоминая, что для Николая II смерть Витте была событием скорей положительным, как "исчезновение источника интриг".

Защита Витте, человека "всеми отвергнутого", вызвавшего и справа, и слева подозрения в "коварных подвохах", у Маклакова, повторяю, литературно

блестяща и по мастерству изложения достойна бы войти в антологию русских политических писаний. Чувствуется неподдельное одушевление, будто мыслям Витте мысли самого автора полностью отвечают, даже с ними совпадают, и поэтому автор, доверяясь своему чутью, их развивает и дополняет там, где они остались неясны. Маклакову страстно хочется доказать, что общественные деятели, — Шипов, Гучков, после них Милюков, — обязаны были с Витте сговориться, что препятствий для этого не было, а характеристику он дает Витте такую, которая задаче его соответствует. Витте, — утверждает он — не "вилял", двойной игры не вел, даже не колебался в решениях, нет: Витте был убежденным сторонником Самодержавия и остался его приверженцем до конца дней, несмотря на глубокую и пренебрежительную неприязнь к последнему Самодержцу. В Самодержавии Витте видел ту мощную, — по Маклакову "творческую", — власть, которая одна только и в силах провести необходимые, давно назревшие реформы, двинуть Россию вперед, осуществить социальный и экономический прогресс не на словах, а на деле. Самодержавие, по природе своей отождествляясь с благосостоянием и преуспеянием страны, должно стремиться к единению с ее живыми силами. Оно в России — единственная твердыня, единственная политическая реальность, и надо было эту реальность использовать, а не расшатывать, критиковать и уничтожать. Да, Витте был противником земства, и этим-то, — или точнее, своей нашумевшей "Запиской о северо-западном земстве" — и повредил себе в глазах либералов, испортил себе свою quasi-либеральную репутацию. Даже Шипов, человек терпимый и умеренный, тогда недоумевал, — и пришел

к парадоксальному предположению, что Витте повидимому действует "от противного" и отстаивая неприкосновенность Самодержавия, на деле хочет доказать необходимость конституции. Но Витте по убеждению Маклакова и тут оставался искренен: земство в России было первым проявлением народоправства, "с государственными правами и обязанностями", и рано или поздно оно неизбежно должно было вступить с Самодержавием в борьбу. Никакой нужды в его существовании, а тем более в его поддержке, Витте не видел, тесное же сотрудничество власти с обществом представлял себе в иных, более плодотворных, деловых и мирных формах. Никто однако его не понял, а Плеве истолковал злополучную записку просто, как "мину, подведенную под Горемыкина".

Не к чему передавать все то, что в оправдание и возвеличение Витте у Маклакова сказано, в частности по поводу событий, связанных с манифестом 17-го октября и вынужденной сдачей Самодержавием прежних позиций ("противоречие со всей жизнью Витте"). Разумеется маклаковские доводы направлены главным образом к тому, чтобы с полной силой обрушиться на общественных деятелей, не нашедших возможности принять приглашение Витте к сотрудничеству и совместной созидательной государственной работе. По Маклакову именно эти дни следует в русской истории признать днями черными, а если и можно для наших либералов найти какие-либо смягчающие их вину обстоятельства, то пожалуй лишь в том, что они не отдавали себе отчета в своем политическом безумии. Не без откровенной язвительности Маклаков замечает, что Витте был "много крупнее своих самодовольных и победоносных кри-

тиков", и ясно видел, что Россия идет к гибели. Из-за чего сорвались его переговоры с Шиповым и Гучковым, еще до того, как премьер встретился с Милюковым и ждал от него совета, что делать? В сущности, из-за назначения Дурново министром Внутренних Дел вопреки данному обещанию. Маклаков склонен считать в столь важном деле отказ, основанный на личностях, а не на взглядах, чуть ли не преступным легкомыслием. По оценке же Милюкова назначение Дурново было ловушкой, "каплей, переполнившей чашу", да и Шипов усмотрел в нем окончательное доказательство того, что работа с Витте невозможна и привела бы только к быстрой и непоправимой дискредитации общественных деятелей, вступивших в его министерство. Позднее граф Гейден нашел для такого рода правительственных затей остроумную формулу, которой в русской мемуарной литературе посчастливилось, т. к. ее приводят чуть ли не все авторы: "Нас приглашают на роли наемных детей при дамах легкого поведения". Но Маклаков уверен, что "дамы" тогда в самом деле образумились и чистосердечно тосковали о нравственности, верности и тихой семейной жизни.

Настойчиво защищает он Витте даже в тех его действиях, где двойная игра, — в советской России сказали бы "двурушнишество", — была по общему убеждению очевидна: например, в совете, данном Государю, отвергнуть проект кн. Святополк-Мирского о совещательном представительстве. Мирский был тем сильнее возмущен, что Витте дал ему твердое обещание "не мешать" в осуществлении задуманного им дела. Формально Витте может быть и действительно "не мешал", нет, но на вопрос Государя, что он о проекте думает, ответил:

— Если вы, Ваше Величество, намерены перейти к строю конституционному, проект следует одобрить, если же вы хотите сохранить неприкосновенность Самодержавия, проект необходимо отклонить.

Маклаков уверен, что Витте и в данном случае не хитрил, не вилял, а говорил то, что совпадало с его политическим символом веры. Кто знает, может быть это и в самом деле было так! Однако видимость "коварства" была действительно на лицо. Успешнее, удачнее, вкрадчивее помешать Святополк-Мирскому в его начинании было трудно, и в конце концов общее недоверие к Витте дошло до того, что возникло предположение поистине абсурдное: он будто бы сбивает царя с толку, чтобы вызвать переворот и стать президентом российской республики. Безграничный "карьеризм", приписываемый Витте Милюковым, едва ли все-таки мог внушить ему мысли, похожие на бред. (Узнав о судьбе своего проекта Святополк-Мирский подал прошение об отставке. Николай II в дневнике своем записал: "Просьба Мирского меня очень рассердила").

Отношение Маклакова к Столыпину разнится от его отношения к Витте только в порядке индивидуальном. Едва заходит речь об аналогичных планах Столыпина и о его стремлении привлечь к совместной работе представителей либеральной общественности, Маклаков так же категоричен в осуждениях тех, кто не дал этому желанию осуществиться. Неудаче столыпинских намерений он придает даже больше значения, чем безрезультатности попыток Витте. Вот что в предисловии к "Первой Государственной Думе" по этому поводу он пишет:

"В конечном счете Россию в революцию столкнула война. Без нее революции не было бы. Но если

после восьми лет конституции Россия смогла воевать целых три года, то будет ли смело предположить, что если бы эти восемь лет протекали иначе, Россия смогла бы в войне достоять до конца? В совместной конституционной работе с общественностью здоровые элементы исторической власти получили бы такую опору, что смогли бы преодолеть осилившие их микробы разложения... Война тогда пошла бы иначе и могла бы иначе кончиться. Конечно, во время войны общественность свой долг исполнила, но тогда было поздно. Она уже несла прямые последствия ошибок 1905—1906 годов. Эти последствия так неисчислимо громадны, что их размер себе страшно представить".

Суждение Милюкова о Столыпине (в "Трех попытках") — "услужливый царедворец и честолюбец, но не государственный человек" — приводит Маклакова в изумление и негодование, как впрочем и другие отрицательные характеристики, Столыпину в свое время дававшиеся, в том числе и та, которая принадлежит Витте:

"Он был честным человеком лишь до тех пор, пока власть не помутила его разум и душу".

В совершенном политическом джентльменстве Столыпина, в огромных его государственных дарованиях у Маклакова сомнений нет, и между прочим он не колеблясь утверждает, что за всю свою жизнь не слышал оратора, по силе и убедительности красноречия ему равного. Столыпин, как известно, вел переговоры об образовании коалиционного министерства с Шиповым и кн. Львовым, беседовал на эту тему и с Милюковым, — правда, ничего конкретного ему не предлагая, а лишь "зондируя почву". Милюков дал сразу Столыпину понять, что если

бы ему, как вождю кадетской партии, было поручено составить кабинет, то он предложение принял бы, однако, о его, Столыпина, участии в министерстве не могло бы быть и речи*). В более уклончивой форме, но по существу то же самое было сказано и Шиповым, в ответ на заявление Столыпина, что ему и без Думы ясно "какие мероприятия являются неотложными", и что он знает нужды страны.

"Какая же будет разница между характером вашей политики и политики ваших предшественников? — спросил Шипов. Разве граф Толстой, Сипягин, Плеве не желали блага России, как они его понимали? Разве граф Витте не говорил, что он знает, что нужно России? Если их политика была однако пагубна для страны, то они по крайней мере имели оправдание в том, что действовали при старом строе. Но как можно идти теми же путями после акта 17-го октября? Я не сомневаюсь, что такая политика приведет правительство на путь реакции и не только не внесет в страну успокоения, но заставит вас прибегнуть через два-три месяца к самым крутым мерам и репрессиям".

Столыпин, — вспоминает Шипов в своих записках, — в крайнем возбуждении воскликнул:

"Какое право имеете вы все это говорить?"

Подобный обмен любезностями в качестве вступления к переговорам о вхождении Шипова и кн.

---

*) Слова, будто бы сказанные Милюковым, что он «не уклонился бы от составления кабинета», приведены и в воспоминаниях Шипова и у Маклакова в «Первой Государственной Думе». Однако сам Милюков их отрицает и в «Трех попытках», и особенно настойчиво в «Воспоминаниях» (т. I, стр. 390), признавая однако то, что на невозможность участия Столыпина в коалиционном министерстве, — кто бы его ни возглавил, — указал твердо и ясно. Шипов, по мнению Милюкова, «извратил цель и содержание беседы».

Львова в министерство не обещал, конечно, ничего хорошего. Столыпин начал с того, что сейчас, после роспуска Думы, нужны, мол, дела, а не слова, что о программе говорить не время и что правительство, освободившись от думского надзора, проведет все необходимые "мероприятия". Шипов именно в ответ на его заявление и указал, что в таком случае не к чему было возвещать об изменении государственного строя: строй повидимому остается таким, каким был при Сипягине и Плеве.

Обо всем этом Маклаков вспоминает с великой горечью, но вспоминает, — надо это подчеркнуть, — на расстоянии нескольких десятков лет. Критиковал ли он и тогда, в те годы, своего партийного лидера, своих товарищей по либерализму так же сурово, как на склоне лет? Едва ли, да к чести Василия Алексеевича надо отметить, что он и не старается это внушить. Скорей другое: он как бы приглашает своих бывших друзей к совместному пересмотру прошлого, убеждает их признаться в трагических оплошностях, ставших вполне очевидными только на расстоянии. Его личные наиболее резкие выступления против режима относятся ко времени войны и могут быть объяснены тревогой чисто патриотической, почти всех охватившей в то время, и мало имеющей общего с вопросами о парламентаризме, о "четыреххвостке", — предмете его постоянных насмешек, — и даже о конституции. Замечательно, кстати, что Маклаков употребляет этот термин в применении к периоду 1906—1907 гг. без малейшей иронии, без кавычке, считая, что царем была "октроирована" конституция подлинная и что русский строй она преобразовала. Не раз указывает он и на то, что со словом "самодержавие" произошло в русском поли-

тическом языке недоразумение, — и что если он, Маклаков, пользуется им в значении общепринятом, то лишь для читательского удобства. Самодержавие, в согласии с толкованием Ключевского, по мнению Маклакова правильным, означает суверенность, независимость от чужеземной власти. Самодержцем провозгласил себя Иоанн III, сбросивший татарское иго. Конституционный монарх вправе за собой этот титул сохранить, а отказаться должен лишь от эпитета "неограниченный", что Николай II в 1906 году, после долгих колебаний, и принужден был сделать.

Милюков этим юридическим тонкостям большого значения не придает и словам не верит. Для него в России установлен был лже-конституционализм, и одно из многочисленных свидетельств этого он видит хотя бы в том, что вслед за "октроированием" конституции Государь во всеуслышание заявил: "Мое самодержавие осталось таким же, как было прежде". На суверенность российской империи никто в мире тогда не посягал, и нет сомнения, что толкования, предложенного Ключевским, царь в виду не имел.

Но эти разногласия уводят нас к вопросу о роли, сыгранной в русской политической жизни нашего века последним носителем Верховной Власти. Должен признаться, что для меня, как читателя, самая удивительная черта в маклаковских писаниях о прошлом — именно игнорирование этой роли, недостаток психологического интереса, исторического внимания в отношении того, кто стоял над Витте и Столыпиным, в сущности ни тому, ни другому не доверяя, и кто в причудливом сочетании безволия с упрямством сводил все попытки обновления на нет. Маклаков на все лады повторяет: Витте сделал бы

то-то, Столыпин мог достичь того-то, — обвиняя в их неудачах лишь несговорчивую либеральную общественность, и забывая, что был царь, который при первом удобном случае устранял министра, ему неугодного, а то и просто ему докучавшего непрошенными предложениями, предостережениями и советами. Пожалуй я неправильно пишу "забывая": говоря о Столыпине Маклаков высказывает основательное предположение, что не будь Столыпин убит, он "стал бы примером людской неблагодарности", т. е. был бы отставлен. Но поскольку речь идет о политических проектах и планах Столыпина или Витте, он в размышлениях своих держится так, будто они были вполне свободны и не было никого, кто всякое их начинание мог остановить.. Повторяю то, что сказал во вступлении к книге: в обрисовке Маклакова русская политическая арена напоминает шахматную доску, где с обеих сторон действует план, где комбинации поддаются предвидению и расчету, и где не может случиться, что ферзь, например, двинется ходом коня, а пешка пойдет вспять. К удивлению своему, уже написав больше пол-книги, я это сравнение нашел у самого Маклакова ("Из прошлого", в "Современных Записках" № 38 — "Нам нужно искать своих ошибок, как ищут их при анализе проигранной шахматной партии").

Маклаков о царе говорит мало и редко. Его склонность к обобщениям, им самим в себе подмеченная — ("я — человек, который не умеет наблюдать, а особенно излагать, не обобщая" — в статье о Плевако) — мало-помалу приводит его к абстрактному изображению государственной обстановки, в которой на самом-то деле идеи и принципы были подчинены иллюзиям, прихотям и желаниям тех, кто

их будто-бы воплощал. Для Маклакова в исторической перспективе есть русское Самодержавие, — абстрактный принцип, — но нет Николая II. На этом стоит и следует остановиться, — потому, что иначе трудно объяснить себе одну из самых характерных особенностей маклаковских писаний о прошлом: они, эти писания, стройны, логичны, красноречивы, неизменно умны, и значит должны бы оказаться вполне убедительны, а между тем, читая и перечитывая их, сопоставляя их с историческими фактами, многое вспоминая, все время чувствуешь: нет, что то в них "не то".

Одно из коротких, мельком сделанных замечаний Маклакова о Николае II:

"Личность Государя сложнее, чем он казался и ревнителям, и врагам его памяти" ("Первая Государственная Дума").

Это, пожалуй, верно, хотя едва ли было бы правильно сложность здесь преувели.чивать и на нее ссылаться для объяснения противоречивых, одно другое исключавших действий. Что покойный Государь, вопреки довольно распространенному мнению, был человеком проницательным, признает и Витте, которому в данном случае, при его ненависти к царю, не верить невозможно. Впрочем, даже если бы Витте определенно не сказал, что Николай II был гораздо умнее своего отца, лучше схватывал сущность дела при докладах, быстрее разбирался в отвлеченных вопросах, достаточно было бы двух-трех записей, Витте по памяти сделанных, чтобы это почувствовать. Например, ответ на успокоительные уверения в том, что Дума будет содействовать укреплению Верховной Власти:

— Не говорите мне этого, Сергей Юльевич.

Неужели вы думаете, что я не понимаю, что создаю себе врага?

Не знаю, все ли согласятся со мной: бывают фразы, даже и незначительные на первый взгляд, в которых ум чувствуется безошибочно, и это — одна из них. В ней есть проницательность и политическая, и психологическая, — в отношении Витте, стремившегося царя успокоить. Однако не только в уме и глупости дело.

При вступлении Николая II на престол Дурново, — кстати, вот человек, насчет исключительной прозорливости которого не может быть двух мнений, пусть и был он "мерзавцем", по знаменитой резолюции Александра III: "убрать мерзавца в Сенат!", — Дурново, как утверждает все тот же Витте, сказал:

"Это будет нечто вроде Павла Петровича".

В характере у Николая II с Павлом I было мало общего, и трудно предположить, чтобы Дурново усмотрел сходство в их душевных свойствах. Но одна черта обоих несчастных императоров роднит: уверенность в божественной, над-разумной сущности царской власти, мистическое о ней представление. Это наследие Павла, не у всех его преемников во всей полноте сохранившееся, но все же последнему царю переданное и им усвоенное. Екатерина была ничуть не менее "самодержавна", чем ее сын, внуки и правнуки, но ей, с ее трезвым умом, ей, собеседнице Дидро и корреспондентке Вольтера, было конечно чуждо религиозное обоснование верховной власти, да и достигла она этой власти таким путем, что упоминать имя Божье могла бы в самом деле только "всуе". Обожествление короны, возвеличение таинства миропомазания началось в новейшие вре-

мена с Павла, зародилось в его больной голове, не отличавшей идеального от реального и современности от средневековья. У Николая II, под влиянием друзей истинных, но тоже витавших в средневековьи, как императрица, или лже-друзей, как окружавшие его льстецы, да к тому же и под воздействием труднейших обстоятельств его эпохи, это представление о царской власти укрепилось и расцвело. В той же статье Вишняка, на которую я уже ссылался, приведена выдержка из дневника статс-секретаря Половцева:

"Сипягин, а вместе с ним и после него Мещерский, убедили Государя, что люди не имеют влияния на ход человеческих событий, что всем управляет Бог, коего помазанником является царь; что царь не должен никого слушаться, ни с кем советоваться, а следовать исключительно божественному внушению, и если его распоряжения могут современным очевидцам не нравиться, то это не имеет никакого значения, потому, что результат действий, касающихся народной жизни и истории получает надлежащую оценку лишь в будущем более или менее отдаленном. Согласно сему государь никого больше не слушается и ни с кем не советуется... Негодяи уверили его, что он, следуя исключительно своему личному ощущению, тем самым осуществляет веление Божеского Промысла".

Эта запись сделана в 1902 году. Нельзя по справедливости было бы сказать, что и позднее царь ни с кем не "советовался". Однако не "слушался"-то он действительно никого, — кроме тех, чьи советы совпадали с его собственными желаниями. В конце 1906 года, например, Столыпин представил царю на подпись Указ о еврейском равноправии, единогласно

одобренный, хоть и не без глухого сопротивления и борьбы, в Совете Министров.

Николай II Указ вернул со следующим письмом:

"Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям.

Я знаю, вы тоже верите, что "сердце царево в руцех Божьих".

Да будет так.

Я несу за все власти, мною поставленные, перед Богом страшную ответственность и во всякое время готов отдать Ему в том ответ".

Вспоминая это письмо, даже Маклаков не может скрыть своего изумления, в особенности уверенностью Государя в том, что "совесть никогда его не обманывала"! А в качестве комментария к "внутреннему голосу" он приводит — во "Второй Государственной Думе" — заявление Пуришкевича на Дворянском Съезде, состоявшемся незадолго до обсуждения проекта о еврейском равноправии в Совете Министров. Пуришкевич сообщил, что "Главный Совет Союза Русского Народа" обратился к Отделениям Союза с предложением просить Государя об отклонении проекта, — и с торжеством добавил:

"По прошествии двадцати четырех часов у ног Его Величества было больше двухсот телеграмм".

"Так пишется история", не раз иронически замечает Маклаков по адресу Милюкова и даваемой им картины недавнего русского прошлого. "Так у нас делалась история", можно было бы сказать в данном случае, т. е. в связи с письмом Государя

Столыпину, с хвастливой откровенностью Пуришкевича и всего прочего. Примеров можно было бы привести без конца. Перед самым отречением, 1 марта 1917 года, в беседе с ген. Рузским, Государь сказал: "Я ответственен перед Богом за все, что случилось и случится. Будут ли министры ответственны перед Думой и Государственным Советом, безразлично". (Приведено у С. Ольденбурга по "Русской Летописи", книга III, Париж, 1922).

Но все это известно, рассказано об этом в десятках мемуаров, — иногда принадлежащих убежденным, лойяльным монархистам, как гр. Коковцев, — и коснулся я роли, сыгранной Государем в судьбе России только потому, что Маклаков, предлагая свою "шахматную" версию этой судьбы, не придает личности царя практического значения. А ведь одной верой в таинство миропомазания и в царский престол, как орган для выполнения Божьих предначертаний, дело не исчерпывалось, и дополнительные черты Николая II, — вечные колебания, отсутствие прямоты в общении с людьми, неприязнь к сотрудникам, приобретавшим в обществе популярность, многое, многое другое, — положение усложняли и ухудшали. Это тоже широко известно, и в частности, с необыкновенной, трагической убедительностью показано в маленькой книжке В. Гурко "Царь и Царица". Закрывая эту книжку, невольно спрашиваешь себя: что же было делать? можно ли было избежать финальной катастрофы, не прибегая к тем методам, которые применялись в восемнадцатом веке? От одного из бывших сотрудников Николая Алексеевича Маклакова, — брата Василия Алексеевича, министра Внутренних Дел, пользовавшегося исключительным расположением Государя, — я слышал рассказ, как

однажды, вернувшись из Царского Села, он после долгого молчания, видимо чем-то во время аудиенции озадаченный или даже пораженный, сказал:

"Погибнуть с этим человеком можно, а спасти его нельзя".

Предсказание с точностью оправдалось, но Василий Алексеевич Маклаков настойчиво утверждает, что гибель отнюдь не была предопределена и что причины ее следует искать в слепом, доктринерском, самодовольном упрямстве русских либеральных общественных деятелей. Милюков когда-то убеждал Витте: "произнесите слово конституция", а услышав ответ его: "я этого не могу, потому что этого не хочет царь", встал и отклонялся: "в таком случае нам не о чем разговаривать". Нет сомнения, что конституция, — без приставки "лже", — представлялась Милюкову необходимой, как гарантия от причуд и пристрастий, принимаемых за веления неба. В самом деле наследственная неограниченная монархия без твердой веры в сношение монарха с небом, будто "по прямому проводу", предстает, как царство риска и случая, и с каждым поколением по мере непрерывного усложнения политических, социальных, экономических и, наконец, международных условий, это должно было становиться очевиднее. Доверить одному человеку, — без иных оснований, кроме династических, — участь и благосостояние миллионов и миллионов людей можно лишь при убеждении, что этого хочет Бог и что Бог при миропомазании передает этому человеку частицу своей непогрешимости. Николай II в этом и был убежден*),

*) Маклаков считает, что даже решение взять на себя верховное командование во время войны с Германией — не было

или по крайней мере дал себя убедить в том, что ему льстило и заранее оправдывало всякое его решение (оправдывало даже колебания: как бы не ошибиться в интерпретации небесных внушений!), Милюков такого убеждения не разделял, а будучи вместе со своими единомышленниками и друзьями чуть ли не ежедневным свидетелем метаморфоз, вроде превращения черносотенных телеграмм в перст Всевышнего, добивался установления такого строя, где самый обыкновенный здравый смысл, худо ли, хорошо ли, был бы защитой от произвола и фантазии. Конечно, народоправство в его представлении имело и другое преимущество, другие обоснования. Но на "данном историческом отрезке", как повелось у нас теперь выражаться, для наших общественных деятелей особенно важным должно было сделаться и обоснование, связанное с личностью царя, у которого, по утверждению Гурко, "игнорирование закона было основной чертой". Маклаков на склоне лет подверг демократические начала и идеи суровой критике. Едва ли однако он решился бы отрицать, что верховный принцип "большинства", как бы ни был он далек от идеала и какую бы долю насилия в себе ни таил, не может все-таки завести в тот тупик, куда в неудачных случаях — какой на рубеже двух столетий выпал на долю России, — заводит правление единоличное и наследственное.

Обо всем этом тяжело писать. Ужасная смерть Государя и его семьи, короткая запись, сделанная им в дневнике в первые дни революции, — "вокруг измена и трусость", — малодушие, проявленное

внушено Государю ничем иным, кроме «мистической веры в религиозную миссию Самодержавия». (Втор. Госуд. Дума», стр. 251).

большинством его мнимых друзей, скромность и благородство в несчастьи, проявленные им самим, все это в конце концов перевешивает в сознании накопившиеся за прежнее время отрицательные впечатления и требует иного, не то, что более справедливого, а более осторожного, более внимательного отношения. Не уверен, что моя догадка вполне основательна, но как знать? не оттого ли Маклаков был столь сдержан в характеристике царя и его действий, что между исторической истиной и чувством, от которого он не мог, да может быть и не хотел отделаться, ему не легко было произвести выбор? Допускаю даже, что было это почти безотчетно. Но если какая-то доля отказа принять участие в посмертном осмеянии или оскорблении человека, стоявшего во главе России и ни в чем лично не повинного, кроме того, что для правления у него не было данных, Маклаковым руководила, это по моему веский довод в оправдание его пропусков и его исторического схематизма.

Никакой сантиментальности приписать ему в этом случае нельзя. Есть скорее некая "государственность" в складе ума, не допускающего слишком безмятежного отречения от того, что все-таки было частью России, было куском русской истории, и что русский "бунт", в этом своем эпизоде действительно "бессмысленный и беспощадный", втоптал в грязь и кровь. И ведь это продолжается до сих пор в советской России, несмотря на глухие, не только правительственные, но и в глубине страны возникающие стремления наладить связь прошлого с настоящим, ощутить прошлое, как нечто свое! Не нужна идеализация: история все равно ее рано или поздно отбросит, и, конечно, в советских условиях нелепо

было бы надеяться на что-либо, кроме минимального беспристрастия и правдоподобия. Но вот недавно в одной из московских повестей попалось мне на глаза выражение "коронованный зверь", — и не говоря уж о полнейшей исторической вздорности этой характеристики, поражает и другое: как развращающе должна действовать подобная ложь на сознание новых читателей, сколько презрения к ним, именно к ним, в этих бесстыдных словах, сколько льстивой низости в скрытом, но подразумеваемом сопоставлении "зверя" с теперешними печальниками и заступниками народа! Дождемся ли мы когда-нибудь правдивого в обоих смыслах, как историческом, так и психологическом, изображения событий, предшествовавших революции, событий, отмеченных не только близостью Ахеронта, но и дыханием Немезиды? Какой материал, какая тема для будущего Шекспира! Нужен был бы именно великий трагический гений, чтобы показать присутствие рока, — Рока с большой буквы, — на фоне повседневной суеты, вроде министерских переговоров, отставок, интриг, деклараций, протестов, рескриптов, а за этим, в центре всего, с человеком, который как бы рожден был для роли жертвы и эту-то свою роль сыграл во всяком случае неподражаемо. В писаниях Милюкова выступает на первый план политик — прокурор, и с психологической точки зрения он критику умышленно упрощает. "Злая воля царицы", — говорит, например, Милюков в "Трех попытках". Неверно: не было злой воли! Была слепая воля, или может быть просто слепота, но не было волевого расположения ко злу. Судя по ее письмам, императрица Александра Федоровна была очень ограниченным человеком, ничего не понимавшим в государст-

венных делах, притом человеком больным, именно в духе Павла I, с которым Дурново сравнил ее супруга, человеком несчастным, вне семейного круга совершенно одиноким, но твердым, верным, чистым, — и хочется мне здесь подчеркнуть, что из всех наших прежних деятелей, либеральных или сановных, один только А. Ф. Керенский однажды отозвался о ней с сочувствием и пониманием, будто в воздаяние за потоки прижизненной и посмертной клеветы. (Было это лет двадцать пять тому назад, на каком-то публичном собрании в парижском зале Лас-Каз. Керенский со своим обычным пылом говорил о революции, и упомянув об императрице, вдруг остановился, будто "осекся", и неожиданно, даже каким-то слегка изменившимся голосом, сказал о ней несколько слов по-настоящему человечных. Не знаю, помнит ли об этом сам Александр Федорович, но уверен, что не все, на собрании присутствовавшие, случай этот забыли). Наши правые и крайне-правые историки или публицисты служат последнему царю дурную службу, пытаясь представить его эпоху так, будто он один понимал и видел нужды России и при других, более ревностных, более исполнительных помощниках вывел бы страну на путь величия и процветания: в этом отношении известная книга С. Ольденбурга представляет собой истинный "тур де форс", виртуозный образчик способности доказывать недоказуемое. Но фактов нельзя ни изменить, ни подтасовать, а их искажение приводит в конце концов к результатам, противоположным цели. Маклаков крайне далек от того, чтобы подобной задачей соблазниться. Но своим отношением к некоторым особенностям нашего прошлого, и даже недомолвками на иных страницах своих писаний, он как бы вносит

в историю то, чего ей так часто недостает: живого непосредственного сознания и чувства, что общие, безымянные исторические процессы сплетены из множества отдельных удач и страданий, что восприятие исторических событий "en bloc" не исчерпывает их подлинного содержания. "Все болит у корней древа жизни", сказал Конст. Леонтьев: еще больше — у "корней истории", которая о временах сравнительно безболезненных быстрей забывает. Маклаков схематизирует, обобщает, судит, пока речь идет о действиях и решениях, не связанных с личной судьбой тех, кто действовал или решал, пока дается лишь отвлеченная картина прошлого, пока в истории допустимы статистические методы. Но царь за свои ошибки заплатил жизнью, царь умер вместе с той Россией, которую он представлял, и на этой черте Маклаков останавливается, недоумевает, по совести не знает, как ему быть, будто вспомнив своего учителя Толстого: "Мне отмщение и Аз воздам".

Скажу еще раз, что прямого указания на это в писаниях Василия Алексеевича нет, и что я предлагаю только догадку. Но догадка представляется мне правдопдообной и духовный облик Маклакова украшающей.

II

В первое время по окончании университета и вступлении своем в адвокатуру, т. е. с 1896 года, Маклаков политике уделял сравнительно мало внимания и умственных сил. Он был прежде всего юристом, уголовным защитником и подчеркивает в своих воспоминаниях, что в то время, т. е. при Александ-

ре III и в начале царствования Николая II, адвокатура была аполитичной. "Большинство в ней понимало, что Судебным Уставам и в частности адвокатуре грозит большая опасность, что сохранить то, что еще есть, ее корпоративность и независимость, возможно лишь осторожностью" ("Власть и общественность". т. I). Политические страсти проникли в адвокатское сословие — как впрочем и повсюду — позднее, а сам Маклаков оказался вовлечен в широкую политическую жизнь лишь в 1905 году, когда сделался членом Центрального Комитета конституционно-демократической партии, окончательно же в 1907 году, когда был избран членом Второй Государственной Думы. Депутатом он оставался вплоть до революции и отъезда из России, и указывает в "Воспоминаниях", что эта его новая, "вторая и главная профессия отодвинула адвокатуру на задний план".

Одно из самых ранних политических воспоминаний Маклакова — 1 марта, а в особенности то "оцепенение", которое овладело обществом непосредственно за убийством царя. Василию Алексеевичу было тогда 12 лет, он прислушивался к разговорам и спорам отца с помощниками и друзьями, стараясь понять значение случившегося. В конце апреля появился манифест о незыблемости самодержавия, по обычаю прочитанный с амвона во всех церквах. Один из сослуживцев Маклакова-отца, вернувшись от обедни, сказал: "Я сначала было испугался, не конституция ли это". Ему стали возражать: пугаться, мол, было нечего, скорей надо было бы радоваться! На другой день в гимназии мальчик повторил понравившуюся ему, загадочную фразу о

какой-то конституции, — и был поставлен к стенке "за глупые разговоры".

Короткое царствование Александра III началось, когда Маклаков был ребенком, но его юность и студенческие годы протекли все же при нем. Оценивает Маклаков это царствование очень сурово. По его убеждению, — повторяемому им на разные лады, по различным поводам, в связи с различными политическими событиями, и несомненно основному, для него важнейшему, руководящему, — по его убеждению правительство, будь оно умнее, могло бы использовать к своей выгоде то общественное отрезвление, которое в восьмидесятых годах наблюдалось в стране повсюду, а вместо того оно занялось постепенной ликвидацией всего, что в предыдущее правление было создано лучшего. Несколько раз, с подчеркнутой настойчивостью Маклаков указывает, что царствование Александра III было для России роковым, и направило ее на путь, приведший к катастрофе.

"Глубокое преступление перед Россией совершили те, кто толкнул политику Александра III к настоящей реакции", — пишет Маклаков во "Власти и общественности", обвиняя в этом преступлении Победоносцева, а свою симпатию к Витте обосновывая предположением, что при все возраставшем влиянии его на царя, Витте может быть удалось бы убедить Александра III в гибельности взятого им политического курса и в необходимости опереться на благоразумные, созидательные общественные силы. Однако вред, причиненный России и русской монархии реакцией Александра III обнаружился лишь позднее. Маклаков вспоминает, что в последние годы своей жизни Александр III стал в обществе почти

популярен и что ему многое прощали за личные его свойства и укрепление международного престижа России. Оплакивали его будто бы искреннее, чем его отца. Даже Ключевский, отнюдь не мракобес, прочел о нем в Московском Университете лекцию, в которой к недовольству радикального студенческого меньшинства воздал "царю - миротворцу" должное.

Однако уверенность, что новый молодой царь сдвинет Россию с места, обновит ее, проведет нужные реформы возникла сразу и распространилась по всей стране. Надежды эти казалиь тем естественнее, что Николаю II легче было бы проявить либерализм, чем Александру III: тот при уступках влево навлек бы на себя подозрение в слабости, в отступлении перед разбушевавшимися стихиями, Николай же вступал на престол после долгого общественного спокойствия и мог бы поэтому свободно возвестить о намерении своем завершить Великие Реформы. Доверие к молодому царю было безотчетным. Иллюзии распространялись и на юную императрицу, которой без всякого основания приписывали демократические стремления. Конституции в ближайшем же будущем ожидали и требовали немногие, большинство ограничивалось уверенностью в возвращении к духу шестидесятых годов с конституцией в качестве далекого, величественного "увенчания" государственного здания. Маклаков полемизирует с Кизеветтером и другими историками, утверждающими, что конституционные требования были тогда явлением распространенным, в частности среди земцев. Даже Родичев, — на которого Кизеветтер ссылается, — определил в своей земской речи 1896 года закон, как "выражение мысли и воли монарха", и

намекнул на желательность только совещательного, не законодательного представительства при Самодерже. Характерны для тогдашних настроений заключительные слова Родичева:

“Господа, в настоящую минуту наши надежды, наша вера в будущее, наши стремления обращены к Николаю II. Николаю II наше ура!”

Но счастливое возбуждение длилось недолго. Знаменитые и злополучные слова царя о “бессмысленных мечтаниях” положили ему конец. Маклаков, одержимый во второй половине жизни, как навязчивой мыслью, стремлением разобраться в разнородных, переплетающихся одна с другой, причинах русской катастрофы, вспоминает о приеме в Зимнем Дворце, на котором раздался царский окрик, как об эпизоде трагическом. “Удар, — утверждает он, — был нанесен самому Самодержавию”.

“Бессмысленными мечтателями оказались те, кто думал, что Самодержавие способно продолжать эпоху либеральных преобразований в России. Самодержавие собиралось только себя защищать, и это в то время, когда на него никто не нападал и когда общие надежды именно на него возлагались. Этой речью кончился краткий период надежд на нового Государя. С той же жадностью, с которой искали сначала симптомов перемены политики в предстоящем царствовании, теперь стали искать предзнаменований неудач и несчастий. Этому помогла Ходынка, буря на Нижегородской ярмарке во время появления Государя и другие суеверия того же типа”.

Направление нового царствования определилось. Юристу и адвокату с особой печалью и изумлением пришлось отметить, что вновь назначенный министр юстиции Муравьев объявил даже независимость суда

“несовместимой с Самодержавием”. Но в сущности и это было тогда в порядке вещей. Едва заходила где-либо речь о законности и о сотрудничестве администрации с обществом, или о самодеятельности населения, немедленно возникало подозрение в скрытой агитации за худшее из зол, — по формуле Победоносцева “великую ложь нашего времени”, — конституцию. Правительство боролось с ней, замечает Маклаков, как Годунов с призраком Димитрия, и, как Годунову “мальчики кровавые” мерещились ему всюду. Реакционные публицисты его поощряли и поддерживали, утверждая — как Грингмут в Московских Ведомостях” — что на руках тайных и явных приверженцев конституционного строя “не только грязь, но и кров”. В 1901 году на банкете в Московском Художественном кружке по случаю Татьянина дня Маклаков произнес речь, где, между прочим, заявил, что “если власть не умеет быть мыслью, то мысль должна стать властью”. Формула эффектная, но расплывчатая. Однако московский градоначальник усмотрел в ней революционный призыв к конституции, и председателю кружка Сумбатову-Южину был сделан строгий выговор. Правда, это был Татьянин день, времена казавшиеся крайне тягостными, были по нашей теперешней оценке времени идиллическими, а в согласии с твердо установившейся традицией, двенадцатого января допускалось любое вольнодумство. Только это и спасло Художественный кружок от закрытия.

Правительственная реакционность, притом, в отличие от предыдущего царствования, реакционность неровная, спорадическая, будто сама в себе неуверенная, привела к тому, что последние сомнения в необходимости конституции рассеялись и сменились,

как выражается Маклаков, "мистической верой в нее". В обществе, и в частности среди либеральной интеллигенции, споры о ней сделались недопустимы, как был бы недопустим спор о существовании Бога среди религиозно-настроенных людей. Требование конституции, сознание ее необходимости с каждым днем находило все больше сторонников, хотя по существу это требование — именно, как таковое — имело характер революционный, "ахеронтский". У деятелей наиболее прозорливых не было уверенности, что на нем удастся остановиться, что стихию удастся обуздать. А еще недавно существовали в глубоких слоях русской общественности настроения в пользу сотрудничества с властью и предложения ей помощи, настроения, при которых народное представительство рисовалось не как результат борьбы с монархией, а как форма ее исторического развития, обеспечивающая ей процветание и долголетие. По иронии судьбы именно в обращении к среде, эти настроения выражавшей, т. е. к земству, и раздался в Зимнем Дворце окрик.

Если Маклаков "попал в общественные деятели", как он сам о себе слегка насмешливо пишет, то именно благодаря близости к земству: в частности благодаря выступлению в Звенигородском Комитете о нуждах сельскохозяйственной промышленности в 1902 году.

Значение этого уездного комитета в общей политической жизни страны было, разумеется, довольно ограничено. Но для Маклакова учстие в его работах имело большие последствия.

В Звенигороде его знали, как талантливого, близкого к Плевако, молодого адвоката, не раз туда приезжавшего для защиты. Но состав Комитета был

земским, и приглашение для Маклакова явилось неожиданностью. Он не имел к земским организациям отношения, — правда не потому, что у него не было нужного для этого ценза, а по оплошности: имя его, как землевладельца, не было внесено в земские списки и обнаружилось это лишь в 1906 году, когда Маклаков намеревался принять участие в земских выборах. Работа Звенигородского комитета по существу мало его интересовала, о сельскохозяйственной промышленности он имел представление самое общее, однако не желая быть на съезде только наблюдателем, он представил председателю особую "записку", которая и была оглашена на ближайшем заседании.

"Председатель управы Артынов мне рассказал, как утром предводитель дворянства протянул ему мою записку со словами "Полюбуйтесь!". Она не могла ему понравиться уклоном в политику, но он сохранил корректность и вида не показал.

Заседание началось с оглашения записок. Прения были отнесены к голосованию тезисов. Пока я свою записку читал, многие улыбались, как чему-то знакомому. Иные, особенно земский начальник Сумароков, поклонник политики Плеве, делали жесты негодования. В перерыве я ощутил, что попал в герои. При большем опыте это можно было бы предвидеть. Но интересно было, как официально отнесется ко мне Комитет и особенно, как в душе будет реагировать на него серая масса — крестьянство".

В записке Маклакова был поставлен вопрос, на первый взгляд действительно к сельскому хозяйству не относящийся. В ней преимущественно говорилось об "ответственности должностных лиц за беззакония" и приведены были примеры беззащитности кре-

стьян перед полицейскими и административными злоупотреблениями. На заседании произошел инцидент, который Василию Алексеевичу очевидно врезался в память, т. к. он рассказывает о нем и во "Власти и общественности", и в позднейших своих мемуарах. Когда земский начальник, "поклонник политики Плеве", иронически спросил его с места, какое, собственно говоря, касательство имеют высказанные им мысли к сельскому хозяйству, встал один из гласных, старик в армяке, с длинной седой бородой, уже зарекомендовавший себя в прениях, как блюститель порядка и опора правительства, и воскликнул:

— Помилуйте, ваше сиятельство, да ведь это самое главное!

Показательно для всей будущей общественной деятельности Маклакова, что началась она с защиты законности и правового порядка. В этом он себе не изменил до конца дней.

Записка, по требованию губернатора, была выброшена из сборника работ Комитета, вскоре вышедшего в свет. Напечатаны были только ее основные тезисы. Но именно этот пропуск привлек к ней внимание, в частности со стороны В. М. Гессена, который ознакомившись с ней, уделил ей в своей книге о Сельскохозяйственных Комитетах больше места, чем все другим звенигородским речам вместе взятым. "В те времена, — замечает Маклаков, — мало требовалось, чтобы оказаться в среде героев общественности".

Приглашением в "Беседу", московский кружок земских деятелей, он считал себя обязанным именно своему выступлению в Звенигороде.

Земцем в точном смысле слова, — надо об этом

еще раз напомнить, — Маклаков не был. Но к земству, к самому духу и природе земства, его влекло, — главным образом потому, что в его представлении оно было естественным следствием и продолжением эпохи Великих Реформ, началом конструктивным, отнюдь не революционным, согласным на сохранение большинства прежних "устоев", если только не причислять к ним правительственного и административного произвола. Маклаков не сомневается, что земство при нормальном развитии событий рано или поздно должно было привести к конституции, — однако не той, которая была у Самодержца судорожно вырвана, вызвала с его стороны двойственное, а то и открыто враждебное отношение и к плодотворной, спокойной совместной работе правительства с общественностью не привела. Нет, сложись обстоятельства иначе, будь правительство по другому настроено, в земстве оно нашло бы незаменимого сотрудника, — конечно, лишь при условии идти по пути Великих Реформ и отказаться от упорства в реакционных стремлениях, укрепившихся после 1 марта. Витте был противником земства, и Маклаков, вопреки распространенному мнению, считает его позицию вполне логичной. Витте в период, предшествовавший русско-японской войне хотел сохранить неприкосновенность Самодержавия, надеясь от его имени провести нужные преобразования, в частности коренную крестьянскую реформу, и не веря, что это было бы возможно сделать иначе, т. е. без того абсолютного, беспрекословного авторитета, которым по его убеждению только Верховная Власть в России и обладала. Как прирожденный практик, Витте дорожил результатами, а не методами. Он отрицал земство, как помеху, и был уверен,

что оно не добьется и половины того, чего мог бы добиться он от лица царя, если бы царь предоставил ему свободу и дал средства довести дело до конца. Но Маклаков-то был конституционалистом, и для него земство было той единственной организацией, которая, сторонясь от переворота, обеспечивала в будущем ограничение произвола и торжество правовых начал. Самой ценной чертой в земстве представлялось ему именно то, что от Ахеронта оно отшатывалось, по крайней мере в первые, лучшие свои годы, и считало государственную ломку великой опасностью. В книгах своих о прошлом Маклаков пользуется термином "Освободительное движение", применяя его ко всем политически-оппозиционным течениям, которые возникли в девяностых годах прошлого века и привели к манифесту 17-го октября. Не без основания Милюков указал на некоторую расплывчатость этого наименования, и вероятно под влиянием его критики Василий Алексеевич в позднейших своих писаниях обстоятельно разъяснил, какое содержание вкладывает он в это понятие. Освободительное движение, — говорит он, — имело два источника, возникло из двух общественных группировок: земства и интеллигенции. К роли интеллигенции в этом процессе Маклаков относится более, чем скептически, да и вообще не склонен русскую интеллигенцию превозносить или идеализировать. Ее тревожный дух, ее безотчетные порывы и искания остались его трезвому рассудку чужды, и будучи по личным связям близок ко многим представителям "ордена русской интеллигенции", — как любил говорить И. И. Бунаков-Фондаминский, — он их увлечения несомненно считал наивными и даже самые их исторические заслуги преувеличенными.

Все, что в Освободительном Движении оказалось взрывчатым, несговорчивым, разрушительным, шло по его мнению от интеллигенции, лишенной государственного и даже просто практического опыта, склонной больше к красивым речам, чем к полезному делу, и уверенной, что как бы Ахеронт ни разбушевался, она выброшена за борт не будет. Земство, наоборот, представляло и проводило в жизнь идею эволюционную, преемственную, внушенную ему повседневной работой, знанием интересов и потребностей населения, — но, увы, и оно поддалось интеллигентским влияниям и к 1904—1905 годам перешло "на дорогу, ведущую к революции", правда не без усердного подталкивания со стороны власти, будто задавшейся целью раздражать его и сбивать с толку. Вот один из примеров этого.

Летом 1905 года Государь принял в Петергофе депутацию от Коалиционного Земского Съезда (коалиционного потому, что уже расколовшегося в своем составе на две группы, правую и левую). На этом приеме кн. С. Н. Трубецкой произнес свою знаменитую речь, в которой благодарил царя за то, что он, вопреки некоторым своим сотрудникам, не считает земцев крамольниками и верит их лойяльности. Речь эта вызвала страстное обсуждение, в левых кругах вызвала негодование, хотя всеми земцами была предварительно одобрена без протестов, что засвидетельствовано в воспоминаниях И. И. Петрункевича. Государ казался взволнован, даже растроган, и ответил несколькими словами, в которых просил "отбросить всякие сомнения" в его стремлении к совместной работе. Месяцем позже в Москве должно было состояться собрание Земского Съезда для сообщения о петергофском приеме и обсуждения даль-

нейших действий. Министр Внутренних Дел его запретил, и поручил моковскому губернатору передать Трубецкому и его друзьям, что в случае ослушания Съезд будет разогнан силой.

Именно после этого Петрункевич сказал: "Нет больше смысла надеяться на благоразумие и добросовестность власти, надо обращаться не к ней, а к народу", и предложил земцам опубликовать воззвание, в котором рекомендовалось "спокойно и открыто собираться, обсуждать свои нужды и высказывать свои решения, не опасаясь, что кто-нибудь станет препятствовать: если все сообща решат, что им делать, тогда за их голосами будет такая сила, против которой не устоит никакой произвол и беззаконие". Это уже было скольжение по дорожке, похожей на будущую выборгскую, и по Маклакову настолько опасной, что он счел возможным назвать отказ земства от своих основных традиций "исторической трагедией".

Зато о земстве первоначальном, скромном, деловитом, творческом он говорит с таким сочувствием и расположением, как редко о каком-либо другом общественном начинании или организации. С особой благодарностью вспоминает Маклаков о своем участии в московском земском кружке, носившем название "Беседа".

Кружок этот был образован для издания книг и брошюр по общественным вопросам. Но истинное его назначение состояло в регулярных встречах крупнейших деятелей, принадлежавших к земству, и в свободном обмене мнений. Маклаков утверждает, что "Беседа" ждет еще своего историка, что роль, ею сыгранная во времена Сипягина и Плеве, гораздо значительнее, чем принято думать, и упрекает Милю-

кова в ее недооценке. Участвовали в "Беседе" люди разных убеждений, — и конституционалисты, и "последние рыцари Самодержавия", как Хомяков и Шипов, с грустью следившие за постепенным политическим разложением своего идеала. В кружке царила полная терпимость, и проявилось это особенно ярко на тех его собраниях, где впервые был "без обиняков" поставлен вопрос о желательности или нежелательности конституции. Схватка произошла горячая, но общая преданность земской работе еще настолько крепко связывала участников "Беседы", что разномыслие не внесло в нее раскола.

Интеллигенты "чистого типа" в "Беседу" не допускались. Членами кружка могли быть только земцы, а для Маклакова было сделано исключение, да и приглашен он был лишь в качестве секретаря.

"Беседа", — пишет он во "Власти и общественности", — "оставила во мне самые лучшие воспоминания. Не потому только, что с ней связаны впечатления моей личной политической молодости; была молода она сама, хотя в ней были люди и старого поколения. Она до самого конца олицетворяла молодость русской либеральной общественности. В ней были еще живы и сильны те иллюзии на безболезненное и мирное обновление России, которые позднее ослабели. Она не потеряла еще веры во власть и была полна веры в русское общество. По самому составу она принадлежала к среде избранных лиц, к тем, кого сейчас называют элитой. Своей "избранностью" она дорожила и не стремилась "демократизироваться". Даже поскольку она претендовала направлять общественное мнение, она обращалась только к людям культурным и зрелым, и распространяла только серьезную, не всем доступную лите-

ратуру. В народных массах она не имела ни малейшей опоры. В этом была ее слабость, но и одна из причин ее своеобразного обаяния. Она в известной степени была отгорожена от увлечений широкого общества, оставалась вполне независимой; в ней не было ни следа демагогии или искания популярности. В ней думали и говорили о "пользе" народа, а не о "воле" народа. В ней были серьезность, терпимость и уважение к несогласным; она не упрощала вопросов, не старалась бросать лозунги, соблазнительные для "народа". В ней было мало приемов позднейшей политики".

Если бы Витте, в тот последний период его правительственной деятельности, когда он отказался, как от дела безнадежного, от защиты Самодержавия и поэтому отказался и от вражды к земству, в котором видел зерно будущего народоправства, — если бы Витте имел тогда перез собой в качестве проблематических сотрудников таких людей, как вдохновители и заправилы "Беседы", его попытка по мнению Маклакова удалась бы. Приглашение было бы принято, соглашение было бы налажено, — "к великому и длительному благу страны" (не могу удержаться здесь, чтобы еще раз не поделиться сомнением: а дал ли бы Государь этому сотрудничеству "длиться"? Не оказалось бы его окружение сильнее Витте? "Шахматные" расчеты, "шахматные" иллюзии вероятно быстро рассеялись бы в реальной исторической обстановке). Маклаков утверждает, что в недрах провинциального, далекого от столичной шумихи земства еще живы были настроения созидательные и трезвые. Но Витте сделал ошибку, приняв Земские Съезды, уже захваченные "интеллигентами", за самое земство, а Съезды поставили ему

ультиматум, Съезды требовали "последовательного проведения конституционных начал", умышленно идя на разрыв. К тому же и конституция в представлении Земских Съездов ни в каком случае не должна была быть "октроирована": ее должно было выработать народное представительство, избранное по "четыреххвостке". Единственное существенное отличие земских требований от проектов чисто революционных заключалось в том, что земцы еще не говорили об Учредительном Собрании.

Волновалось и дворянство, еще недавно считавшееся главной, вернейшей опорой правительства. К московскому дворянству принадлежало большинство служилой знати, а так же и придворного мира. К нему особенно благоволил Александр III, видевший в дворянах-москвичах надежнейших союзников, хранителей катковских заветов. На собрание московского дворянства в 1904 году правые круги возлагали большие надежды, считая, что оно, "из самого сердца России", скажет свое твердое отрезвляющее слово. Маклаков принял в дворянском собрании участие, впервые в жизни. Участвовал в нем и Кокошкин.

Мысли, высказанные Маклаковым в его сравнительно короткой речи на собрании, свелись к отстаиванию необходимости совещательного представительства при монархе. Он предвидел знакомое возражение, принимающее разные формы, но по содержанию неизменное: сначала успокоение, затем реформы. Но именно этот принцип, предостерегал Маклаков, и завел нашу власть в тупик: пока не будет реформ, не будет и успокоения.

Охранительное, консервативное течение было на собрании представлено Ф. Д. Самариным, славянофилом по семейной традиции. Но парадоксальность

общего положения, общее смущение умов в том и сказались, что славянофил счел себя обязанным резко критиковать идею, бывшую в сущности идеей Земского Собора, т. е. одной из основ славянофильского мировоззрения. При голосовании группа, к которой принадлежал Маклаков, и возглавлявшаяся С. Н. Трубецким, осталась в меньшинстве, но при составлении адреса Государю ей удалось подать "особое мнение", которое к адресу и было приложено. В этом особом мнении, было указано, что "бюрократический строй, парализующий русское общество и русский народ, и разобщающий его с монархом, составляет не силу, а слабость России". К удивлению Маклакова фраза эта при чтении вызвала общие рукоплескания: аплодировали даже те, кто повсюду видели крамолу. Царь в своем ответе благодарил большинство за адрес, но особое мнение обошел молчанием.

О том, как Россия благодаря Освободительному Движению пришла к конституции, — по Маклакову настоящей, без кавычек, по Милюкову требующей иронических кавычек, — было рассказано много раз, с разных точек зрения, с различными долями одобрения или осуждения. Оригинальность и даже исключительность позиции Маклакова среди тогдашних деятелей, а отчасти и среди позднейших летописцев и мемуаристов, заключается в том, что консерватизм он сочетал с конституционализмом. Не могу вспомнить, — и не нахожу нужной справки, — кто именно назвал его "диким": может быть это сказал он сам о себе. Действительно, ни к одной из политических групп примкнуть всецело он не был способен. Со сторонниками Самодержавия у него общего языка найтись не могло бы потому, что

прежде всего и резче всего сторонники Самодержавия отрицали идею правового порядка, для Маклакова верховную. Закон — верили и утверждали они — это воля Монарха, и отбрасывали все, что волю эту могло бы ввести в обязательные и для нее нормы. С конституционалистами единомыслия было у Маклакова разумеется больше, и отталкивали его от них не самые их политические принципы, а политическая тактика, т. е. "единый фронт" с революцией. Да и чрезмерное их нетерпение было ему не по душе. Для Маклакова было вполне достаточно того, что обещал Манифест 17-го октября, а дальнейшее развитие возвещенных начал могло бы длиться годы и годы. К чему было спешить, кричать "все или ничего"? Маклаков со сдержанным негодованием вспоминает, что Милюков в вечер издания Манифеста заявил:

"Ничего не изменилось, война продолжается!" — и увлек за собой людей колеблющихся, еще за два часа до милюковской речи восторженно говоривших о дарованных "свободах". С еще большим возмущением Маклаков вспоминает, что самую конституцию "октроированную" 23 апреля 1906 года, Милюков охарактеризовал, как "ухудшение худшей части худших европейских конституций". Все это было для Маклакова игрой с огнем, и если в конце концов пожар охватил Россию, то винить себя должны по его мнению те, кто опасности не видел.

Правительства Маклаков ничуть не оправдывает, даже говорит о его "безумии", — правда имея в виду главным образом самые первые и самые последние годы николаевского царствования, т. е. делая исключение для Витте и Столыпина. Особенно он беспощаден к Плеве, "злому гению монарха", —

несколько расходясь в этой оценке с царем, который в своем дневнике (15 июля 1904) назвал Плеве "незаменимым" на посту Министра Внутренних Дел. Но правительство, правительственная среда для Маклакова — чуждые люди, чуждая область, и к ним он менее требователен, чем к деятелям ему близким, т. е. к русской либеральной общественности в целом, а в особенности к своим товарищам по кадетской партии и к партийному лидеру. "Цвет русской интеллигенции", иронически говорит Маклаков о депутатах Первой Думы, попавших на скамью подсудимых. На суде он их защищал. Но именно потому, что это был "цвет", от него он склонен был ждать государственной осторожности, — хотя бы только осторожности, а не мудрости, — во всем, что выборгскому процессу предшествовало. В истории Маклаков оказался прокурором по отношению к тем, для кого на суде был защитником.

Упреки или подозрения в сведении личных счетов с партией Маклаков отбрасывает. "Я ни в чем, — пишет он, — партией не был обижен и для сведения личных счетов у меня просто отсутствует почва". Отвергает он и приписываемое ему порой "банальное поправение". Милюков иронически назвал его как-то "бывшим кадетом", но ведь сам-то он тоже "бывший", — иронизирует Маклаков, — а его претензия быть в эмиграции полномочным представителем партии народной свободы — недоразумение. ("Власть и общественность", т. III). Расхождения между ним, Маклаковым, и кадетскими руководителями существовали всегда, и он их не скрывал. Но в прежнее время он все же считал нужным соблюдать партийную дисциплину, которая теперь не имела больше ни значения, ни смысла.

Первый Учредительный Съезд конституционно-демократической партии был созван 10 октября 1905 года. За три месяца до этого П. Б. Струве в заграничном "Освобождении" говорил о настоятельной необходимости образования партии "как орудия создания державного народа, как акушера нации". Съезд такими намерениями и был одушевлен, но не успел он собраться, как был опубликован Манифест о свободах, и в "акушере", по мнению Маклакова, больше не представлялось нужды, поскольку Самодержавие само от себя отреклось, а союз общественности с Ахеронтом лишался всяких оснований. Это поняли октябристы — Шипов, Стахович, Хомяков, "конституционалисты по повелению Его Величества", — и казалось бы кадетам надлежало именно с ними образовать нечто вроде "единого фронта". Но Милюков объявил октябристов врагами и добавил: "Будем надеяться, что поддержка правительства окрасит эту партию в цвет черной сотни". Маклаков недоумевает, разводит руками: почему "будем надеяться"? к чему подобная "надежда" ведет? В своей литературной деятельности, как впрочем и в речах, он неизменно склонялся к стилю спокойному, лишенному внешних эффектов: иначе в его воспоминаниях восклицательные знаки стояли бы вероятно чуть ли не на каждой строке.

Появление Манифеста изменило в России всю политическую обстановку. В январе 1905 года состоялся новый съезд кадетской партии, на котором руководители ее принуждены были объявить о пересмотре прежней тактики. Не было больше речи об Учредительном Собрании и о четырехвостке. Государственную Думу и предстоявшие выборы в нее бойкотировать было бы рискованно, так как страна

бойкота не поняла бы. Милюков был уверен, что на выборах пройдут главным образом октябристы и их друзья, и готовил партию к оппозиционной работе. Неожиданно для себя он оказался на "правом крыле партии" и должен был проявить не мало изворотливости, чтобы объяснить своевременность отступления, представив его, впрочем, как победу. Кадеты провинциальные держались прежнего курса и были недовольны, но компромисс был достигнут и единство партии оказалось сохранено.

На этом съезде Маклаков, хоть и бывший его полноправным членом, оставался в тени, а свое избрание в Городской и Центральный Комитеты партии приписывает случайности. В этом не в первый раз сказалась его скромность: он ведь и свое приглашение в "Беседу" объяснил случайностью. На одно из собраний съезда явилась полиция, принятая председателем Тесленко "в штыки". С протестом выступил и Маклаков, заявивший, что по действующим законам полицейский пристав, насильно вторгшийся в зал, где происходит легальное собрание, подлежит арестантским ротам. Это, — вспоминает Маклаков, — "создало мне популярность", и несколько ближайших друзей беспрепятственно провели его в оба руководящих партийных комитета. Впрочем не без горечи он указывает, что для него, как и других молодых членов Центрального Комитета, многое в партийных делах оставалось тайной, а важнейшие решения бывали неожиданностью. Не случайно Шипов охарактеризовал Милюкова, как человека неподходящего на пост премьера, ибо "слишком самодержавного". Трагикомическая подробность: сказал он это в беседе с Государем, не подумав о неуместности случайно подвернувшегося эпитета, и сильно

смутившись, когда на лице Николая II выразилось некоторое удивление (вроде как когда-то Расин, беседуя с Людовиком XIV, по рассеянности назвал запретное имя Скаррона, первого супруга Мадам де Ментенон, — и впав в немилость, не мог до смерти простить себе своей оплошности).

Основные расхождения с партийными руководителями возникли у Маклакова по вопросу о конституции, — или точнее, об Основных Законах, изданных 23 апреля 1906 года, за четыре дня до созыва Первой Государственной Думы. В своих воспоминаниях, в частности во "Власти и общественности", он говорит об этом разногласии с особой настойчивостью, отстаивая конституцию, как "настоящую", считая ее "достойной тех, кто долгое время управлял государством" и видя в ней истинно творческий акт "нашей оплеванной бюрократии".

"Октроирована была подлинная конституция. Если это иностранное слово не было сказано, то существо конституции было все на лицо. Воле Монарха был поставлен предел теми законами, изменять которые единолично он уже не мог. Только это и составляет смысл конституции. Конституция в том, что без согласия представительства Государь изменять законов не может. И это было дотигнуто.. Не делает чести нашим политикам, что этого они не заметили".

Надо признать, что вся заключительная часть "Власти и общественности", посвященная защите и разъяснению конституции, принадлежит — как и уже отмеченная мною глава о Витте — к самым блестящим страницам в политических писаниях Маклакова. Не только стилистически. "Правовой", юридический ум автора здесь в своей сфере, и при толковании той

или иной статьи новых законов, или в доказательстве несостоятельности доводов, на которые ссылается противная сторона, он обнаруживает большую находчивость и достигает несомненной убедительности. Но Маклаков остается здесь теоретиком, а как теоретик он полемизирует с Милюковым всегда удачнее, чем при перенесении спора на практическую почву. Кроме того, он убежденный "постепенновец", об этом забывать нельзя.

Царь согласился на то, чтобы слово "неограниченный" было из Основных Законов выброшено, но оставил за собой право беспрекословно отвергать неугодные ему законодательные начинания народного представительства. Самые Основные Законы были объявлены не подлежащими ведению Государственной Думы, и ни иоты она изменить в них не могла. Маклакова ни это, ни многое другое не смущает, он ссылается на возможность "конституции без парламентаризма" ("II Гос. Дума", стр. 85) и уверенно провозглашает "эру правительственного произвола" отошедшей в историю, пусть исполнительная власть по прежнему и не обязана была давать народным представителям отчета в своих действиях и сообразоваться с их требованиями. Но Милюков — практик, реалист, и так же, как вечером 17-го октября он заявил, что "война продолжается", так и в день издания новых законов он высказал уверенность, что "правительство сохранит за собой всю власть, которой оно пользовалось доселе". Можно было бы посвятить отдельную книгу этим коренным расхождениям, так как при переходе от соображений принципиальных в подлинную русскую историческую действительность, положение сразу усложняется и в игру входят "иксы" и "игреки", значение которых

определить, да и то приблизительно, удалось бы лишь путем личных характеристик и учета непредвиденных влияний. Милюкова возмутило, что правительство, поторопившись издать законы к самому открытию Думы с явной целью поставить ее перед свершившимся фактом, поступило, как "тать в нощи". Но с этим он вероятно примирился бы, будь сущность новых законов иной. Без риска ошибиться можно сказать, что несговорчивость Милюкова была ему внушена стремлением добиться твердой, постоянной и окончательной защиты от произвола, защиты не на словах, а на деле. А этого он не видел. Сам Государь заявил, что "мое Самодержавие осталось таким же, каким было встарь", подтвердив, что руководящая правительственная группа никакого реального значения исчезновению слова "неограниченный" не придает. (Вскользь сам Маклаков говорит — правда уже не в связи с конституцией, а по поводу военно-полевых судов: "У Государя не было преклонения перед правом; в его нарушении он часто видел заслугу власти и доказательство преданности его воле"). Витте на одном из заседаний по выработке Основных Законов с раздражением заметил по адресу Коковцева, который "чего-то не понимал":

"Я уже объяснял, что Манифест 17-го октября не установил конституции. Государь Император вводит новый строй по своей инициативе. Какая-же это конституция?"

(Фраза не совсем ясная. Повидимому Витте хотел сказать, что если Государь Император "по собственной инициативе" ввел новый строй, то может по собственной инициативе и вернуться в любую минуту к строю прежнему).

Позднее Столыпин в интервью, данном прави-

тельственному официозу "Волга" с торжеством заявил, что "Думе не удалось ничего урвать у царской власти" (Приведено в "Воспоминаниях" Милюкова). Наконец уже в начале революции, 2 марта 1917 года, ближайший к Государю человек, его вернейший единомышленник, императрица Александра Федоровна, умоляла царя ни на какую конституцию — "или на другой ужас" — не соглашаться, не отрекаться от того, в чем он клялся на коронации.

Несомненно в споре Маклакова с Милюковым русское правительство признало бы, что прав Милюков, хотя с негодованием отвергло бы его выводы и заключения.

Вскоре после образования конституционно-демократической партии была учреждена при ней "школа ораторов" и Маклакову было предложено руководство ею. Если политический его вес был в те годы еще не велик и кандидатом в Думу он выставлен не был, то очевидно ораторское его дарование никем уже не оспаривалось. Ораторы нужны были партии для разъяснения Манифеста 17-го октября, для ознакомления "обывателя" с партийной программой, наконец, для выборной кампании. Характерен первый совет, данный Маклаковым своим слушателям по школе: "Красноречие — главный враг оратора". Этим принципом он руководился всегда и многое в его деятельности и в его суждениях (как и в его осуждениях) — например, отношение к Первой Думе — объясняется хотя бы отчасти — отталкиванием от слишком звонких фраз и демагогических призывов.

В выборной агитации он принял участие деятельное и подчеркивает, что вместе с Кизеветтером и Кокошкиным был в то время "самым модным лек-

тором", ездившим из города в город для изложения кадетских требований, стремлений и надежд. Однако в противоречьи с прежними своими утверждениями Маклаков в воспоминаниях говорит, что тогда он с кадетами "не расходился ни в чем". Что это рассеянность, обмолвка, случайная "неувязка"? Пусть конституции, т. е. законов 23 апреля 1906 года во время выборной кампании еще не было, но ведь и в оценке Манифеста 17-го октября Маклаков резко разошелся с партийными руководителями. Повидимому, дисциплина, неофитский энтузиазм тогда в сознании его еще преобладали, а впрочем программу можно было излагать и толковать, даже и не касаясь тактических расхождений. Маклаков утверждает, что "обыватель" хотел обновления, но революции боялся. На выборных собраниях, при столкновении с социалистами и трудовиками, упрекавшими кадет в потворстве властям, "обыватель" оказывался на кадетской стороне и клевете не верил. Выборы, как известно, привели к полнейшему и неожиданному триумфу партии, и если кадетские лидеры усмотрели в этом торжество идей "полного народовластия", с четырехвосткой и Учредительным Собранием, то Маклаков склонен объяснить этот успех сравнительной умеренностью официальной кадетской программы, отнюдь существованию монархии не угрожавшей. Да, признает он, ветер дул в стране левый, у правительства друзей было мало, октябристы на выборах провалились, несмотря на поддержку свыше или именно из-за нее. Но в глубинах России население никакого расположения к революции не имело и кадетская партия предстала ему как оплот, как "золотая середина": она обещала все нужные реформы, но надеялась провести их без коренной ломки. На выбо-

рах каждый из кадетских ораторов вероятно клонил в свою сторону: Маклаков был более осторожен и консервативен. Кокошкин, например, более радикален. Но общее, дружное наступление привело к разгрому противников, или даже просто инакомыслящих, — и в Государственной Думе кадетам было обеспечено подавляющее большинство.

Трудно теперь, более чем полвека спустя, с точностью сказать, как относился Маклаков к Первой Государственной Думе в период ее существования. Но в качестве историка и мемуариста он к ней беспощаден. С первых же своих шагов Дума, по его мнению, делала ошибку за ошибкой. В ответном адресе на тронную речь она осудила полученную конституцию, требовала уничтожения Государственного Совета, создания ответственного перед народным представительством министерства и в противоречье с текстом конституции себя одну называла "законодательной властью".

В заключительных строках "Власти и общественности", указывая, что очерк его доведен лишь "до новой главы русской истории", Маклаков говорит:

"Эта глава истории начинается деятельностью любимой, прославленной и превознесенной первой Государственной Думы, той Думы, "народного гнева", "народных надежд", которой посвящено столько восторженных книг и статей. Восхваление этой Думы и создание легенды о ней один из приемов, которыми побежденные мстят своим победителям. Но теперь это ненужно: пора признаться, что эта Дума при всех личных качествах и достоинствах ее членов была ярким образчиком нашей политической неумелости Укреплению конституционного строя она не помогла, а мешала в то время, когда всякая потеря

времени была поистине "смерти подобна". И она приблизила нас к заключительной катастрофе".

Приблизительно то же самое, варьируя мысль свою на все лады, сказал Маклаков и в статье, помещенной в сборнике памяти М. М. Винавера: "Первая Государственная Дума политического экзамена выдержать не сумела".

Однако. самая резкая отрицательная оценка дана Маклаковым Первой Думе в обстоятельной книге, полностью ей посвященной. В частности, когда доходит до Выборгского воззвания, Маклаков не упускает случая подчеркнуть, что это был акт бессмысленный и нелепый, обнаруживший у виднейших русских общественных деятелей незнание и непонимание народных настроений вместе с иллюзиями насчет своего значения и своей популярности. Милюков в "Трех попытках" утверждает, что "Выборгский манифест был минимумом того, что можно было сделать" и "цели он достиг", т. к. без него не были бы назначены выборы во Вторую Думу или во всяком случае избирательный закон оказался бы нарушен годом раньше. Маклаков едва удерживается, чтобы не назвать это утверждение чистейшим вздором. Несомненно, тот факт, что подписано было Выборгское воззвание не без прямого воздействия Милюкова, — депутатом не бывшего, ничем лично не рисковавшего, но заявившего в Выборге, что "отступать поздно", — для Маклакова лишняя причина недоумения и раздражения.

III

Ко Второй Государственной Думе Маклаков гораздо более снисходителен. Он защищает ее от нападок справа и слева, а в особенности от распрост-

ранившегося сразу же после ее созыва пренебрежения к ней. Коковцев в своих воспоминаниях назвал эту Думу "сплошным революционным скопищем", Винавер охарактеризовал ее, как "серенькую", лишенную "полета и вдохновения". Маклаков не отрицает, что талантами, знаниями и громкими именами она была много беднее, чем Дума первая, — да и могло ли это быть иначе, раз "цвет русской интеллигенции", перводумцы, подписавшие Выборгское воззвание, сами себя лишили права быть депутатами? Именно этому приписывает Маклаков то, что кадетская партия выставила его кандидатом от Москвы, — кандидатом "второго порядка", замечает он со своей неизменной скромностью, хотя товарищами его по избранию были деятели довольно видные, как Кизеветтер и Тесленко. Дума оказалась значительно более левой по составу, чем ее предшественница, и отчасти это и заставляет Маклакова с сочувствием говорить о роли, сыгранной в ней кадетской фракцией, особенно под конец ее существования, когда давление со стороны социал-демократов сделалось особенно настойчивым. В противоположность тому, что было в Первой Думе, кадеты на этот раз были началом сдерживающим, благоразумным, и если бы Дума не оказалась слишком поспешно распущена, они могли бы образовать крепкое центральное ядро, к которому примкнули бы и другие умеренные депутаты, с опаской поглядывавшие на бушующий Ахеронт. Если бы, если бы! Разумеется, мы и тут остаемся в области предположений и догадок. Столыпин вел Думу к роспуску, чтобы после роспуска произвести государственный переворот 3 июня, т. е. изменение избирательного закона. Царь выражал нетерпение, удивлялся, что

Совет Министров медлит с представлением ему на подпись Указа о роспуске и писал Столыпину, что "пора треснуть" (приведено в воспоминаниях С. Е. Крыжановского). Основания для этого с точки зрения правительства были, и Маклаков с грустью вспоминает о таких инцидентах, как оскорбление армии в речи депутата Зурабова, которого не догадался во время остановить Головин, председатель несомненно "серенький" по сравнению с авторитетным и величавым Муромцевым. (Государь охарактеризовал Головина как "nullité complète"). Был финальный инцидент с привлечением социал-демократов к суду после обыска у Озоля и правительственным требованием согласия Думы на арест шестнадцати из них и на исключение всех пятидесяти пяти остальных. Но это были скорее поводы или предлоги для роспуска, чем причины. Их можно было бы обойти. Маклаков не может примириться с мыслью, что кадетской фракции, начинавшей проявлять некоторую независимость от более радикально настроенных партийных лидеров, не было дано преодолеть препятствия и наладить конституционную работу с правительством. По его убеждению Столыпин именно этого хотел, а принужден был уступить влиянию безответственных "сфер" только потому, что нигде не находил ни понимания, ни поддержки. В Думе, точнее в центре ее, едва начинало пробиваться и крепнуть государственное, анти-демагогическое, созидательное отношение к вопросам управления и вообще к будущему России, когда существованию ее был положен конец.

Маклаков был одним из самых заметных и деятельных членов Второй Думы. Но если имя его с этого времени сделалось в стране широко известно,

было бы ошибкой сказать, что в партийной среде он мог отныне претендовать на руководство или на соперничество во влиянии с такими людьми, как Милюков. Он остался "диким", и для настоящего руководства был слишком порывист, слишком впечатлителен, непосредствен, неповторимо - индивидуален. Иногда, как в речи о военнополевых судах, он действительно выражал то, что думали и хотели бы сказать все другие, и выражал так, что оставалось только удивляться его мастерству: никто, кроме него, не поставил бы вопроса с такой отчетливостью и не дал бы ему более убедительного и блестящего разрешения. Но бывали случаи, когда он возбуждал недоумение, даже негодование: так было после его тайного ночного визита к Столыпину, накануне роспуска Думы, вместе со Струве, Челноковым и И. Гессеном. Московский комитет партии колебался в связи с этим, выставить ли кандидатуру Маклакова в Третью Думу, считая его человеком "не надежным". Случилось, что Маклакову демонстративно аплодировали Пуришкевич или Крупенский при молчании своих. Однажды Маклаков в сердцах заявил в кулуарах, что "это не Дума, а кабак", а на следующее утро вся Россия прочла в "Новом Времени" панегирик Суворина по адресу кадета, "решившегося наконец сказать правду". Все это создало Маклакову особую репутацию, как человека в иных обстоятельствах незаменимого, но все же не предназначенного к тому, чтобы людей объединять и уверенно их за собой вести.

Незаменим он был там, где нужны были его знания, его юридическая интуиция, его ясный логический ум. Маклаков был почти единоличным творцом думского Наказа, разработку которого он начал бу-

дучи членом Второй Думы, а продолжил в Третьей и Четвертой. Он придавал этому своему "детищу" (выражение самого Маклакова) очень большое значение, и был уверен, что Наказ "навсегда останется основанием думских правопорядков". В комиссию по составлению Наказа, оставленного Первой Думой в едва начатом виде, было избрано девятнадцать человек, которые в свою очередь избрали Маклакова председателем и докладчиком. Позднее, уже в Третьей Думе, где правые были в большинстве, председателем комиссии оказался Крупенский, но тот — несмотря на свою вражду к кадетам — настоял, чтобы Маклаков был товарищем председателя, добавив, что присутствовать на заседаниях не будет. Таким образом Наказ и стал подлинным "детищем" Маклакова, дополнившего его объяснительной запиской в двадцать печатных листов. Монументальный труд этот был завершен незадолго до революции и разделил судьбу всех дореволюционных начинаний, хотя повидимому Маклаков сохранил надежду, что в далеком будущем, с изменениями и дополнениями, характера которых предвидеть нельзя, он еще окажется использован.

Из речей, произнесенных Маклаковым во Второй Думе бесспорно наиболее замечательна и произвела наибольшее впечатление речь о военно-полевых судах. Как Байрон после появления первой песни "Чайльд-Гарольда", он на следующее утро "проснулся знаменитостью". Речь эту одобрили, или по крайней мере по достоинству оценили, люди разных политических лагерей и разных убеждений. Милюков назвал ее "образцовой": комплимент как будто бы сдержанный, но при его отталкивании от всякой фразеологии многозначительный. Столыпин, против ко-

торого острие речи и было направлено, признался, что "трудно возражать тонкому юристу, который талантливо отстаивает доктрину" и впервые обратив на Маклакова внимание, расспрашивал в перерыве заседания, кто он такой, откуда, чем занимался прежде.

Маклаков в своей речи резко критиковал Столыпина, но это не мешало ему видеть в нем выдающегося государственного деятеля, последнюю надежду русской конституционной монархии. То, что доводы, выставленные им против военно-полевых судов, Столыпина поколебали, а внутренне вероятно и убедили, еще более возвысило его в глазах Маклакова. Надо перечесть во "Второй Государственной Думе" главу, где рассказано о правительственной декларации в зале Дворянского Собрания, — куда из-за обвала потолка в Таврическом Дворце были перенесены заседания, — о нелепой тактике кадет, давших обет молчания, о революционном выступлении Церетелли и наконец, об импровизированном, для всех неожиданном ответе Столыпина со знаменитым выкриком "не запугаете!", чтобы почувствовать, как неотразимо он был тогда для Маклакова привлекателен. Витте был пожалуй более гибок, Витте умел "под хлороформом", согласно своему же выражению, проводить нужные ему меры. У Витте были, по мнению Маклакова, даже черты гениальности. Но в герои он не годился, и как олицетворение, как символ империи, в качестве защитника трона, Столыпину, конечно, уступал. Маклаков справедливо замечает, что нельзя представить себе за подписью Столыпина таких желчных и язвительных мемуаров, как те, что оставил Витте. Царедворец, беспринципный честолюбец? Нет, говорит Маклаков, и вспоминает, что в Киеве смертельно раненый Столыпин

перекрестил Царя, стоявшего в ложе. Никакому расчету приписать этого жеста нельзя. Столыпин, по убеждению Маклакова, был умом и сердцем предан монархической идее, видел в начале своей правительственной деятельности ее спасение лишь в развитии и завершении реформ, начатых в шестидесятых годах, и из-за этого вызвал к себе недоверие сверху, так же как из-за своей верности Царю навлек на себя со стороны умеренных политических деятелей подозрение в угодничестве. Он был трагической фигурой, и Маклаков любуется им, хоть и признает многие его ошибки.

Ошибкой, и тягчайшей ошибкой, было установление военно-полевых судов. При обсуждении законопроекта об их отмене в Думе выступило сорок семь ораторов. Большинство правых было против отмены, по принципу "око за око": пока в стране царит революционный террор, борьба с ним должна быть беспощадна. Кадеты, законопроект представившие, не говоря уже о трудовиках и социал-демократах, военно-полевыми судами возмущались, но в обоснование своего возмущения ссылались то на крайнюю суровость приговоров, то на невозможность их обжаловать, или же на злоупотребления пресловутой 87 статьей, позволявшей правительству бесконтрольно делать все, что ему вздумается. Маклаков стал на иную точку зрения, и речь свою построил как бы от лица самого Столыпина, т. е. человека, стоящего на высшем правительственном посту и обязанного охранять интересы, достоинство и незыблемость государства. В основной своей теме речь о военно-полевых судах очень близко сходится с речью на Выборгском процессе, произнесенной несколькими месяцами позже, и проникнута тем же

государственным пафосом, тем же недоумением перед фактом расшатывания государственных устоев людьми, которые по самому положению своему призваны их поддерживать и укреплять. Эта речь могла быть произнесена членом оппозиции только потому, что в его представлении он принадлежал к "оппозиции Его Величества", и что у него в данном случае было больше государственного смысла, чем у "правительства Его Величества". На 87-ю статью, на то, что военно-полевые суды были введены в междудумье, Маклаков, скрепя сердце, пожалуй махнул бы рукой. Но с извращением самого понятия о государстве, с издевательством над законностью, как основой правового общественного устройства, он примириться не мог. Столыпин очевидно это уловил, и потому должен был признаться, что "в этой плоскости мышления" он с Маклаковым "не разошелся бы".

В Положении о военно-полевых судах было общее, руководящее указание:

"В тех случаях, когда для генерал-губернатора деяние является настолько очевидным, что по его мнению нет надобности в расследовании, он это деяние предает военно-полевому суду".

"Господа, — спросил Маклаков, — по каким же законам мы живем? Под какой закон подпадает преступник? Под любой. Он может судиться в палате сословных представителей по одному закону, военно-окружным судом по другому, военно-полевым судом по третьему, и все это по усмотрению генерал-губернатора, как ему заблагорассудится, так, этак или иначе. Когда нет общего закона, когда есть три закона, тогда закона нет вовсе. Я вижу в этом не строгую репрессию, а отрицание общих норм права, отрицание самой законности... Военно-

полевая юстиция есть отрицание закона и его для всех обязательной силы, отрицание главного устоя государственности, удар по самому государству".

Всякий суд, как бы он ни был строг, — продолжал Маклаков, — основан на свободе судейской совести и судейского решения. Военно-полевые суды являются логическим завершением Положения об усиленной охране, изданного после убийства Александра II. В этом положении была статья 906, дающая судьям право уменьшать наказание по их усмотрению. Но еще в 1887 году им было тайным циркуляром сообщено Высочайшее запрещение эту статью применять. "Называть такой суд судом для юриста — кощунство".

"Но военно-полевой суд пошел еще дальше. Прежним военным судам оставалась одна возможность, признать в тех случаях, когда это мыслимо, что преступления не было. Но даже этого права не осталось у военно-полевого суда. Указ говорит, что военно-полевому суду предают только тогда, когда преступление настолько очевидно, что нет надобности в его расследовании. Эти слова предрешают приговор. Где вы найдете подчиненных офицеров, которые решатся сказать генерал-губернатору: вы находите, что преступление очевидно, а мы находим, что это неправда! Для того, чтобы так ответить, надо иметь то гражданское мужество, требовать которого невозможно. Смотрите же, господа, что вы делаете! Есть два государственных устоя: закон, как общее правило, для всех обязательное, и суд, как защитник этого закона. Когда целы эти начала, — закон и суд, — стоит крепко и сама государственность. И их вы должны защищать, вы, хранители государственности! А вы подорвали закон, вы в грязь

втоптали суд, вы подкопались под самые основы государства, — и все это сделано для хранения государственности! Вы говорите: ударяя по революции, мы не могли щадить частных интересов (заявление Столыпина в правительственной декларации)... Не о частных интересах идет теперь речь! Их действительно не щадят ни власть, ни максималисты. Но есть нечто, что надо было щадить, нечто, что вы должны защищать, это — государственность, суд и закон. Ударяя по революции вы ударяли по суду и законности... И если вы так добьете революцию, то одновременно вы добьете и государство, и на развалинах революции будет не правовое государство, а только одичавшие люди, один хаос государственного разложения".

Кончил Маклаков указанием, что если правительственная декларация была "не только словами, не только обещаниями", то правительство само должно заявить:

"Позора военно-полевого убийства в России больше не будет".

Речь имела по свидетельству самого Маклакова "успех очень большой". По другим воспоминаниям она произвела впечатление, исключительное, ошеломляющее, оратору три четверти Думы аплодировало стоя и по общему требованию заседание было прервано. Всех интересовало: что ответит Маклакову Столыпин? По адресу Церетели "не запугаете!" было с его стороны естественно. Но что скажет он теперь, когда его обвинили в подрыве именно тех начал, которые он будто бы отстаивает?

Столыпин уступил. "С этой кафедры, — сказал он, — был сделан призыв к моей политической честности, и я должен ответить, что такого рода вре-

менные меры (т. е. военно-полевые суды) не могут приобресть постоянного характера. Они могут отразиться на самом народе, нравы которого должны воспитываться законом".

Это был язык почти маклаковский. Столыпин военно-полевых судов защищать не стал, и так как все меры, проведенные по 87-й статье, должны были в известный срок быть утверждены Думой, "позор военно-полевых убийств" прекратился.

Однако, к делам, с ним связанным, Маклакову еще пришлось вернуться. В речи своей он упомянул о злоупотреблении властью московским генерал-губернатором Гершельманом и выражал недоумение, как может такой человек оставаться на своем посту. Запрос о Гершельмане слушался через месяц, и инициатива его принадлежала Маклакову, который был в данном деле докладчиком.

Случай этот он назвал одним из самых возмутительных из всех ему известных. Военно-полевым судом четыре крестьянина, обвинявшихся в убийстве городового, при том "по пьяному делу", были приговорены к пожизненной каторге. Гершельман приговор отменил, назначил другой состав суда, обвиняемые были приговорены к смертной казни и в тот же день повешены.

В качестве докладчика Маклаков допустил некоторые фактические ошибки в изложении дела, о котором был неверно осведомлен военным судьей Иваненко. Ему на это с торжеством указал военный министр ген. Редигер. Маклаков свою ошибку признал, но подчеркнул, что существа дела она ничуть не меняет. Существо дела — не в том, были ли обвиняемые молодыми людьми или "почтенными бородачами", как он сказал в докладе, и даже не в

том, был ли городовой только ранен или был убит: оно в том, что генерал-губернатор счел себя стоящим выше закона и совершил преступление, за которое должен быть не только немедленно отставлен, но и судим. Маклаков повторяет здесь свою постоянную политическую мысль: государство живет только до тех пор, пока существует закон и пока правительство дает пример строжайшего его соблюдения.

"Ведь эти люди, кто бы они ни были, простые ли пьяницы или политические преступники, эти люди, с того момента, когда над ними состоялся приговор суда, с того момента, когда именем Его Императорского Величества им было объявлено, что они посылаются в каторжные работы, эти люди находились под охраной закона. Если эти люди погибли, то они погибли не жертвою правосудия, а жертвою совершенного над ними преступления — превышения власти".

Гершельмана защищал перед Думой кроме военного министра Редигера, товарищ министра Внутр. Дел Макаров и генерал-прокурор Щегловитов. Столыпин молчал, но будто бы **"не позволил"** (подчеркнуто Маклаковым, "Вторая Гос. Дума") никому из членов правительства признать вину Гершельмана. Довод, приведенный Щегловитовым, Маклаков считает "граничащим со скандалом", его "стыдно цитировать". Щегловитов сказал:

"Удостоверяю, что резолюция ген. Гершельмана не содержит в себе слов "отменяю приговор военно-полевого суда". Ген. Гершельман положил резолюцию: "Оставить приговор без исполнения".

Макаров со своей стороны сослался на то, что суд в первом составе собрался раньше, чем был ут-

вержден соответствующим приказом по Округу и следовательно должен быть признан "юридически не существовавшим". Дума то смеялась, то негодовала. Ни один из депутатов, даже крайне правых, за правительство не вступился. Была принята маклаковская формула перехода к очередным делам с осуждением Гершельмана и требованием предания его суду. На карьере московского генерал-губернатора она однако никак не отразилась и последствий не имела.

Впервые Маклаков встретился со Столыпиным не по своему, а по его желанию, переданному через правого кадета С. Котляревского. Встреча состоялась в Зимнем Дворце и была секретной.

Маклаков рассказал о ней только ближайшим единомышленникам, Струве, Челнокову и Булгакову, которых, как и его самого, в кадетской партии шутя называли "черносотенцами". Огласки более широкой он опасался. Во-первых, при отношении к Столыпину, как к заведомому врагу, партия обвинила бы его "в нарушении дисциплины, а то и в измене". Во-вторых, огласка несомненно повредила бы Столыпину в глазах Государя, который уже и Витте ставил в упрек его склонность к переговорам с либералами. Недоброжелателей же у Столыпина среди советников царя было много.

Беседа запомнилась Маклакову и произвела на него чрезвычайно благоприятное впечатление. "Я чувствовал в Столыпине не врага нашему делу, а союзника, с которым столковаться возможно". Правда, Столыпин сам говорил мало, больше задавал вопросы. Оба сошлись на том, что Думу следовало бы уберечь от роспуска, и Маклаков убеждал Столыпина, что при умелом к ней отношении, она может оказаться работоспособной. Но очевидно на

верхах вопрос о роспуске был уже решен, и Столыпин чувствовал, что едва ли ему удастся Государя переубедить. Были влияния более сильные, чем его, а главное — ближе отвечавшие настроениям самого царя. "Ну, что же, будем и дальше работать", сказал он Маклакову при прощании, добавив, что "очень, очень рад был знакомству". Но ничего определенного не обещал.

Второе тайное свидание со Столыпиным состоялось поздно ночью, перед самым роспуском Думы, и вызвало, когда сделалось известно, целую бурю. Надо вспомнить, что Милюков вел в это время в "Речи" ожесточенную кампанию против Столыпина, и в частности речь его по аграрному вопросу, Думу волновавшему, назвал "весьма бестолковой и некстати сказанной". Маклакова это раздражало, и хотя он и ставил Милюкову в заслугу то, что "Речь" одновременно, и не менее ожесточенно, отбивалась и от нападок слева, отношение партийной газеты к Столыпину представлялось ему не только несправедливым, но близоруким и вредным. Милюков приписал Столыпину желание "искусственно повысить для помещиков продажные цены земель и заставить казну по этим вздутым ценам за них заплатить", Милюков усмотрел в столыпинском аграрном плане "экспроприацию государственной казны в интересах ста тридцати тысяч землевладельцев". Родичев ему вторил, заявив в Думе ("плачущим голосом", иронизирует Маклаков), что нет больше "правительства Государя всея Руси", а есть "защитник помещичьих интересов".

При наличии таких настроений в партии, визит к Столыпину одобрен, быть, конечно, не мог. Разнесся даже слух, что четыре кадета ездили к Пред-

седателю Совета министров "торговаться" насчет выдачи социал-демократов, арест которых требовал согласия Думы. В кадетском Центральном Комитете Маклаков был встречен настолько враждебно, что тут же заявил о своем выходе из партии, и только благодаря умиротворяющему воздействию Милюкова от решения своего отказался.

Инициатива ночного визита к Столыпину на этот раз исходила от Маклакова и трех его друзей, Струве, Челнокова и Булгакова: это было с их стороны последней попыткой отстоять Думу от роспуска. Но Столыпин поставил условием немедленное и безоговорочное согласие Думы на арест социал-демократов, и когда Маклаков ему заявил:

"Ваше требование вы предъявили в такой форме, что принять его Дума не сможет. После этого нам было бы стыдно друг на друга смотреть", — ответил: "Ну, тогда делать нечего! Только запомните, что я вам скажу: это вы сами сейчас распустили Думу".

Маклаков со своими друзьями не считал безусловно неприемлемым требование "выдать" социал-демократов, но настаивал на отсрочке для обсуждения, Столыпин же был непреклонен: "немедленно!"

Впрочем, перед этим он указал, что все равно, по другому, т. е. по аграрному вопросу, конфликты с Думой — и как следствие, ее роспуск — неизбежны.

Визит оказался безрезультатен. На следующее утро Вторая Дума была распущена.

Событие это Маклаков относит к числу тех "роковых" событий, которые подготовили катастрофу 1917 года. Пусть сама по себе, т. е. по своему составу, Вторая Дума была неудачна, а в особенности

до крайности мало культурна. Важно не это, важно то, что в ней начиначлся здоровый, органический процесс, "вытекавший из новых отношений между представительством и властью".

"Дума стала понимать, где ее друзья и враги, и кто действительно ее работе мешает. Явилась необходимость установить в ней больший порядок, бороться с тратой времени на "посторонние цели", т. е. на попытки речей для газет и для публики... Происходило оздоровление Думы. Это шло снизу, от непосредственных работников Думы. Они в конце концов повели за собой и вождей. Опыт думской работы отрезвлял нашу общественность".

Будь существование Думы продлено, хотя бы на год, "государственный переворот", т. е. Акт 3 июня, оказался бы по убеждению Маклакова не нужен.

"Даже и при старом избирательном законе **новые** выборы произошли бы **в другой** атмосфере и при **другой** обстановке (подчеркнуто Маклаковым). К этому шли. Но правящие люди в России увлеклись соблазном форсировать этот процесс и получить сразу больше, чем можно.

Во Второй Думе начала намечаться та объективно необходимая комбинация "прогрессивного блока", которая одна могла реформировать Россию без потрясений, и изменить ее облик, сохраняя в ней и порядок, и преемственность государственной власти. Для той кучки, которая хотела, чтобы государство служило только их интересам, Первая Дума была не так опасна, как Вторая, как на войне безрассудный по смелости натиск менее страшен, чем постепенное окружение. Правые воспользовались ошибками Думы, предубеждением против нее Государя и стремительностью жестов Столыпина, и сумели на роспуске

ее настоять. Для мирного развития России он был большим ударом, чем преждевременное прекращение Первой. Первая Дума против своего желания, вела нас все-таки к революционному взрыву. Вторая же, если бы ей время это позволило, могла бы от него Россию избавить".

Изменение избирательного закона Манифестом 3 июня вызывает у Маклакова размышления еще более горестные.

Показательно однако для общей его характеристики, что говоря о государственном перевороте он большей частью ставит эти два слова в кавычки, чего не делает Милюков. Очевидно акт этот, как бы мало он ни был оправдан, для него — не совсем переворот. Кавычки указывают, что он этим термином пользуется лишь условно, как и тогда, когда речь идет, например, о "революции 1905 года", которую он лично революцией не считает. Милюков же со своей стороны не хочет даже признать акт 3 июня законом, предпочитая презрительно о нем говорить, как о "Положении".

Но самая оценка этого акта у Маклакова еще суровее милюковской. Объяснение очевидно в том, что Милюков склонен был бы сказать "ничего другого я от нашего правительства и не ждал", между тем как для Маклакова акт 3 июня был со стороны Столыпина поступком непредвиденным, самоубийственным, уничтожившим доверие к нему. "Здесь поистине была Немезида", пишет он. Реакционеры почувствовали, что правительство отступает и нажим свой усилили. Умеренные группы оказались охлаждены в своей готовности к реформам и отошли от центра вправо, куда по природной склонности их давно уже тянуло. Конституционная, правовая идея

была поколеблена, и никакие ухищрения Столыпина не могли этого затушевать. “Обнаружилась, — с сокрушением пишет Маклаков в заключении “Второй Государственной Думы”, — “знакомая претензия Верховной Власти всегда считать себя выше закона. Было нарушено царское слово”. Неудивительно, что кадеты за неимением других союзников опять обратились к союзникам революционным.

О своей деятельности в Третьей Думе Маклаков не рассказал в печати почти ничего. В воспоминаниях он указывает, что хотел посвятить ей, а так же и последней, Четвертой Думе, особые книги, как сделал это для Первой и Второй. Но не нашлось нужных материалов, и намерение свое он оставил.

Объяснение приемлемое, убедительное, возразить нечего. В самом деле, без стенографических отчетов, основываясь на одной только памяти, писать историю Думы трудно. Но возникает и сомнение: так же ли охотно Василий Алексеевич рассказал бы о Третьей Думе, как о Первой, ему чуждой, а в особенности о Второй, не было ли у него в душе горького осадка при воспоминании о ней? Если даже согласиться с ним, что “банальному поправению” он на склоне лет ничуть не поддался, что он сохранил те же убеждения, каких держался всегда, выступления его в Третьей Думе могли у него на расстоянии тридцати—сорока лет вызвать досаду. Да и помимо личных выступлений Дума эта всем своим обликом должна была его отталкивать.

Вторую Думу он до известной степени имел основанием считать “своей”, как некоторые виднейшие кадеты, лишенные после Выборгского воззвания избирательных прав, с гордостью называли “своей” Думу первую, Думу “народного гнева”. Вторая Ду-

ма была по составу левее Первой, но у кадетской фракции была в ней роль, которая Маклакову особенно была по душе: постепенное образование конституционного центра для сотрудничества с исторической властью. Препятствий было множество, но присутствие Столыпина еще казалось залогом того, что их удастся преодолеть. Столыпин еще шел вверх, в гору, еще верил в самого себя и в свою миссию. Сам Маклаков только начинал свою парламентскую карьеру и сразу добился огромных успехов, сделался одним из "рупоров "не только кадетской партии, но и других общественных групп. Среди думских кадет он был человеком самым видным, возбуждавшим самые большие надежды. Маклакову это должно было льстить, но при его скромности дело было не в личном самолюбии, а в возможности смелого проведения политической линии, которую кадетский Центральный Комитет считал в данных условиях неосуществимой и во всяком случае опасной.

В Третьей Думе было не то. Откровенно и подчеркнуто "классовый" характер закона 3 июня дал в ней перевес поместному дворянству, притом дворянству давно утратившему былые вольнолюбивые и культурные традиции: не случайно Третья Дума заслужила двойную кличку "барской и лакейской". Кадеты оказались не в центре, а в левом ее секторе, в оппозиции не только к правительству, но и к думскому большинству. Впервые членом Думы стал Милюков, и разумеется, руководство кадетской фракцией оказалось в его руках. Впрочем, в Третьей Думе Маклаков был по своему политическому настроению гораздо ближе к нему, чем во Второй, и вероятно партийная дисциплина уже не тяготила его. Он уже не вел никакой своей, особой "линии", не

имел скрытых расчетов и надежд, не был партийным "черносотенцем", он шел в общем кадетском русле. Однако несколько скептическое и осторожное отношение к проявлению Маклаковым идейной самостоятельности, к его индивидуалистическому темпераменту в партии повидимому еще сохранилось. В "Воспоминаниях" своих Милюков пишет:

"Маклаков был несравненным и незаменимым оратором по тонкости и гибкости юридической аргументации. Но он выбирал сам выступления наиболее для себя казовые, и с своей стороны фракция не всегда могла поручать ему выступления по важнейшим политическим вопросам, в которых, как мы знаем, он не всегда разделял мнения к. д.".

Однако поводов к трениям Маклаков не давал. При его убеждении в значении личности в истории, — убеждении, сквозящем во всех его писаниях*), — он повидимому переживал в то время нечто вроде душевной драмы: глубокое разочарование в Столыпине. Следов такого разочарования в книгах Маклакова, написанных в эмиграции, очень мало. Первоначальный образ Столыпина очевидно заслонил в в памяти и оценке Василия Алексеевича облик Столыпина третьедумского, озлобленного, мечущегося, предчувствующего свое финальное политическое поражение, отставку, "сдачу в архив". Если бы к таким

*) Два человека, одинаково преклонявшиеся перед Львом Толстым, в этом вопросе решительно противоречат ему: Маклаков и Алданов. Ни тот, ни другой отнюдь не считали, например, Наполеона «ничтожным орудием истории», как сказано в «Войне и мире». У Маклакова любопытно и отношение к Бисмарку: он довольно часто на него ссылается и очевидно считал его тем политическим деятелем, который мог бы предотвратить все позднейшие европейские потрясения, и был настолько силен, что не боялся отступать, когда это было нужно, не шел никогда на пролом.

делам уместно было бы применить поэтическое сравнение, можно было бы в связи с подобными маклаковскими оценками вспомнить Пушкина: "видения первоначальных чистых дней", возникающие на смену "заблуждениям". Но в Третьй Думе Маклаков как будто мстил Столыпину за утрату иллюзий, за то, что от идеи плодотворного правового сотрудничества с властью приходилось отказаться, за то, что Столыпин своими промахами и своей вызывающей самоуверенностью заставлял его, прирожденного консерватора, вести себя, как революционер. Не к чему ведь извращать факты, затушевывать истину: в Третьей Думе Маклаков выступал именно, как революционер, как "революционер поневоле", боровшийся с правительством потому, что правительство унижало, оскорбляло, разваливало, разрушало верховное для Маклакова понятие правовой государственности. "Либо мы, либо они", категорически заявил Маклаков много позднее, накануне революции, в последней своей большой думской речи. Но тогда была война, был Распутин, были "государственные шалуны" на министерских постах, тогда дилемма его казалась внушена самой жизнью, да и поставлена она была непосредственно вслед за милюковским вопросом "глупость или измена?", в поддержку и подтверждение его. Положение далеко еще не было настолько трагическим и безвыходным в 1909 году, когда в Думе слушался запрос об Азефе, ни даже в 1911 году, когда Столыпин, будто в припадке какого-то безумия, и при том в насилие над волей Государя, выслал заграницу Дурново и Трепова, распустил на три дня Государственный Совет и Государственную Думу, чтобы в порядке 87 статьи провести провалившийся закон о западном земстве.

Поступок был действительно нелепым, пожалуй даже чудовищным, и мог вызвать подозрение, что Председатель Совета Министров собирается править страной по принципу "чего моя нога хочет", и что его уязвленное самолюбие ему дороже государственного блага. Но вероятно позднее, в те годы, когда все это стало историей, когда страсти окончательно остыли, когда общие политические очертания эпохи выступили отчетливее за счет отдельных мелочей и недоразумений, вероятно тогда Маклаков склонен был бы все-таки отбросить крайние выводы, которые он делал в Думе, и признал бы, что "взрывать мосты" было не к чему. Без большого риска ошибиться можно предположить, что третьедумские речи Василий Алексеевич при позднейшей самокритике причислял к своим ошибкам, и что воспоминание о них было для него тягостным. В печати он этого не сказал. Но насколько знаю, намеки на это есть в его частных письмах.

Речь об Азефе не могла не казаться ему построенной на явном преувеличении, в противоположность безупречно обоснованной, прекрасной речи о военно-полевых судах или речи выборгской. Скажу больше: у всякого беспристрастного человека, который перечтет речь об Азефе в наши дни, создастся вероятно впечатление, что для такого дела негодование оратора слишком громоподобно, слишком велеречиво. Маклаков как будто сам себя взвинчивает, что с ним случается редко, и говорит больше, говорит гораздо резче, чем естественно было бы от него ждать. Несомненно, он был в то время раздражен всем, что видел вокруг, может быть даже был подавлен, и его недовольство мало-помалу переходило в отчаяние. Речь об Азефе выражает политическое

отчаяние, это первая маклаковская вариация на тему “мы или они”. В эмиграции, перебирая, взвешивая в памяти все прошлое, он сделался к “ним” гораздо терпимее, — не то, что “их” оправдывая, нет, но считая, что “нам”, в наших же интересах, как и в интересах России, никогда, ни при каких обстоятельствах не следовало забывать, куда “их” гибель страну заведет. Виноваты, — настойчиво утверждает Маклаков, — в первую голову те, кто ставил какие-то ультиматумы Витте, те, кто после 17 октября считал, что “ничего не изменилось, война продолжается”, кто затем оттолкнул Столыпина. Но и тогда, когда Столыпин был уже только тенью былого конституционалиста, когда восстановлен был в правах правительственный произвол, нет, даже и тогда нельзя было, — сказал бы Маклаков в старости, Маклаков “поправевший” по распространенному мнению, “умудренный опытом” по вероятному собственному суждению его о себе, — называть русское правительство “преступной шайкой” и улюлюкая, приглашать к его совместной травле сторонников Ахеронта. К Ахеронту Маклаков не чувствовал, конечно, никакого расположения и в те далекие годы, но по течению его плыл.

Дело Азефа было делом грязным и темным. Однако прежде всего оно было делом полицейским, раскрывшимся и на всю Европу нашумевшим лишь благодаря неожиданной откровенности б. директора департамента полиции Лопухина. Поведение полиции было в этом деле действительно более, чем “неблаговидным”, и в идеально-благоустроенном, идеально-порядочном государстве должно было бы быть абсолютно недопустимо. Полиция покровительствовала провокатору и даже косвенно участвовала в терро-

ристических актах, которые подготовлял, а иногда и осуществлял Азеф: полиция умышленно шла на это в целях осведомления. Бесспорно, ее методы заслуживали самого решительного порицания.

Но существует ли где-нибудь в мире полиция идеально-нравственная, и в силу нравственных принципов брезгающая методами, которые, ей выгодны, по ее убеждению даже необходимы? Не читаем ли мы порой в газетах наиболее передовых демократических стран жалобы на полицейские злоупотребления, парламентские запросы по поводу, например, подслушивания и тайной записи телефонных разговоров? Власть принимает меры ограниченные данным случаем и закрывает глаза на общее положение, очевидно, не зная, как ей быть. Идеально-честной тайной полиции быть не может, хотя бы уже потому, что она тайная, и значит по самому роду своей деятельности прибегает к хитрости и обману. Гражданин в котелке, избегающий при исполнении служебных обязанностей носить форму, чтобы не выдать своей принадлежности к полиции, не есть гражданин безупречно честный, и такие слова, как "сыщик", "осведомитель" ни на одном из языков общественным уважением не пользуются. Разумеется, наше охранное отделение, наша "охранка" побила в отсутствии брезгливости все рекорды, — впрочем, только по до-революционным измерением и представлениям, никак не в сравнении с подвигами новейшими! — и защищать, оправдывать ее никому не пришло бы в голову. Но Маклаков отожествил ее с правительством, полностью перенес на правительство "кровавую грязь" ее деяний, и это именно положил в основание своего возмущения. Возмутила его столыпинская фраза, — надо при-

знаться остроумная, но в данных обстоятельствах неуместно-ироническая, — о том, что "нельзя же правительству ставить в вину непорядки по революции". Чудовищно! — негодует Маклаков. — У Столыпина "готтентотская мораль"!

"Если сотрудник полиции был во главе революции, то да, это ужасно, это печально для революции, но это и позорно для правительства".

Как юрист, Маклаков устанавливает различие между понятиями доносчика и провокатора. Азеф был именно провокатором, и правительство не только допускало, но и платило за провокацию деньги.

"В этот момент совершалось нечто противоестественное, совершалось объединение правительства государства с преступлением. В этот момент исчезало государство, исчезало правительство... Когда государство перестает поступать по закону, оно не государство, — оно — шайка. Правительство в это время не есть власть, оно есть преступное общество, хоть и не тайное.... Когда совершился этот противоестественный союз преступника и правительства, перед нами не было правительства, перед нами стояла шайка, которая попала в плен к преступникам".

Маклаков в конце своей речи несколько раз указал на метаморфозу Столыпина, на общее изменение его политики. "Три года тому назад Председатель Совета Министров говорил, что его задача — водворить правовой строй в России... Три года тому назад Председатель Совета Министров говорил, что его задача — не бороться с обществом, а вызвать его к жизни... А теперь отталкиваются от правительства умеренные слои общества, у которых больше не хватает терпенья, те слои общества, которые предпочли бы счастье положительной работы совместно с пра-

вительством долгу оппозиции. Но когда вопрос ставится так, что нельзя помогать правительству, не изменяя стране, тогда нет выбора".

Ключ к речи об Азефе несомненно в этих словах. Провокаторы сотрудничали с полицией, ведь и тогда, когда Столыпин читал при открытии Второй Думы свою министерскую декларацию, полную "правового пафоса". Но в то время Маклаков главарем преступной шайки его не назвал бы.

Речь о западном земстве, произнесенная 27 апреля 1911 года, не менее резка, но к ней упреки в натяжке и в довольно искусственном, спорном построении обвинения, отнесены никак быть не могут. Между запросом об Азефе и ею прошло больше двух лет, а за истекшее время от былого столыпинского престижа не осталось в глазах Маклакова уже ровно ничего. В карьере Столыпина это был момент самый драматический: оттолкнув Государственный Совет и Думу, он окончательно восстановил против себя и Государя. Маклаков в сущности добивал его, и пожалуй, знай он все, что стало известно только позднее, — предчувствия Столыпина, его одиночество, растерянность, горькое сознание крушения всех расчетов и планов, — он отнесся бы к нему снисходительнее. "Честолюбцем и царедворцем, не государственным человеком", — по оценке Милюкова, — он ведь все-таки его не считал. Но политика беспощадна, в ней мало места личным чувствам, а дело о западном земстве действительно должно было вызвать у такого приверженца правовой государственности, как Маклаков, изумление и чуть ли не ужас.

Еще в 1909 году Столыпин внес в Думу законопроект об учреждении земства в шести западных губерниях, возбудивший недовольство и справа, и

слева: справа — по недоверию к земству вообще, слева — по сильному душку "обрусения", которым законопроект был проникнут. Дума однако приняла его, правда очень незначительным большинством. Но Государственный Совет его отверг. У правительства была возможность действовать путем законным, т. е. провести в Думе вторичное одобрение законопроекта, после чего "верхняя палата" должна была бы подчиниться. Но Столыпин был вне себя, и узнав, что Дурново и Трепов успели побывать в Царском Селе и убедить Государя в опасности законопроекта, решил свести с ними счеты. Основная его ошибка была в том, что он рассчитывал на поддержку и содействие Думы, волю которой в ее конфликте с Государственным Советом он будто бы отстаивал. Дума же оказалась настолько озадачена и даже возмущена явным беззаконием его мер, что от него отшатнулась, а ее председатель А. И. Гучков сложил с себя в виде протеста свое звание. Государь уступил Столыпину не сразу, крайне неохотно, под угрозой немедленной отставки в случае отказа, и будто бы даже оказался дальновиднее его, предупредив, что на поддержку Думы рассчитывает он напрасно (свидетельство Милюкова). Но Столыпин настоял на своем: Дурново и Трепов были высланы заграницу, Государственный Совет и Дума распущены на три дня, закон о земстве проведен по 87 статье.

Императрица Мария Федоровна, хорошо знавшая своего сына, тогда же сказала Коковцеву, что Государь произведенного на него Столыпиным давления ему не простит, — тем более, что сопротивление законопроекту шло из близких царю реакционных кругов.

"Приняв решение, которого требует Столыпин,

Государь будет глубоко и долго чувствовать всю тяжесть его... Найдутся люди, которые будут напоминать, что его **заставили** принять решение. Один Мещерский чего стоит! Чем дальше, тем больше у Государя будет расти недовольство Столыпиным, и я почти уверена, что теперь бедный Столыпин выиграет дело, но очень не надолго, и мы скоро увидим его не у дел".

Государь был действительно раздражен, а порицание, вынесенное Столыпину в Думе, дало ему повод не без торжества заметить на очередном докладе, что экстраординарные меры, Столыпиным против его желания принятые, никого не удовлетворили и только вызвали общее возбуждение. Несомненно Столыпин принужден был бы оставить свой пост, если бы летом того же года не был убит.

Если речь об Азефе требовала от оратора некоторого умственного усилия и находчивости. по необходимости установить логическую связь между не вполне однородными доводами, то в речи о западном земстве задача Маклакова была упрощена до крайности. Правительство само себя посадило на скамью подсудимых, и трудна была бы в этом деле не речь прокурора, а речь защитника. Маклаков начал с указания, что в своем докладе Столыпин коечто утаил от Государя, следовательно, обманул его. Далее подчеркнул, что теперь воскрешено "всевластие бюрократии, всевластие министерской воли", считающей для себя закон необязательным.

"Еще недавно в России была одна воля, которая стояла выше закона, перед которой закон склонялся, это была воля наших неограниченных Самодержцев. Они с изданием Основных Законов сами от этого отказались".

(Здесь по стенографическому отчету Пуришкевич крикнул с места: "Ничего подобного!").

"Они поставили закон выше своей воли, они дали учреждения, которым завещали блюсти за тем, чтобы закон не нарушался. Я спрошу вас: разве наши неограниченные Самодержцы отказались от самодержавия, чтобы передать его Совету Министров или его Председателю?"

Столыпин удивлен враждебным отношением Думы? Он утверждает, что в противоположность Государственному Совету проявил к Думе уважение? Маклаков сомневается: может быть это первоапрельская шутка? Но нет, "тут сказалось понимание, которое люди известного государственного воспитания имеют о том, что такое уважение к закону".

"У нас говорят об уважении к правам законодательных учреждений, но только постольку, поскольку они вотируют так, как этого хочется, и уважают их за то, что они так вотируют. Но когда палата разошлась с председателем Совета Министров, этот вотум называется обструкцией, ее мнение называют противодействием видам правительства, и подобно губернаторам, усмиряющим беспорядки, отыскивают зачинщиков и подвергают их административным взысканиям". Давно ли, — спрашивает Маклаков, — Столыпин был популярнейшим в России человеком? Давно ли даже враги его политики относились к нему с уважением? Если теперь этому настал конец, то "пусть Председатель Совета Министров на себя и пеняет". Он насаждает в России "психологию правового и государственного одичания" и "под своим главенством установил правление позорное".

"Для государственных людей этого типа, кото-

рые в излишней вере в свою непогрешимость, в излишнем презрении к мнению других ставят свою волю выше закона и права, для них русский язык знает характерное и выразительное слово "временщик". И время это у него было, но это время прошло. Председатель Совета Министров еще может остаться у власти; его удержит у ней и боязнь той революции, которую его же агенты творят, удержит и опасность создавать прецеденты. Но, господа, это агония".

Так говорил Маклаков в 1911-м году*). Отдавал ли он себе полностью отчет в зловещем смысле слова "агония", которое тогда впервые употребил? Предвидел ли, что общая "агония" будет по историческим масштабам недолгой, что продлится она всего шесть лет? А главное, как представлял он себе будущее, если признать бесспорным, что революцию он во всяком случае отвергал?

На этот вопрос Василий Алексееви. ответа не дал. В речи о западном земстве он заявил:

"Я конституционалист больше Председателя Совета Министров, но монархист не меньше его".

Следовательно он считал, что борясь с правительственным произволом, он с монархией не борется и даже ее защищает. Но в реальной русской обстановке тех лет каким образом надеялся он от-

---

*). В том же письме к А. А. Гольденвейзеру, на которое мне приходилось уже ссылаться, (см. главу «Юрист»), Маклаков признает, что в речи об Азефе «сгустил краски», а свою резкость по отношению к Столыпину в речи о западных земствах объясняет именно тем, что не знал тогда о его положении и о чувствах царя. «Тогда я думал, что валю временщика в апогее его власти, теперь же вижу, что бил по лежачему. Мне эту речь совестно припоминать». То же самое Василий Алексеевич говорил в последние годы жизни некоторым своим друзьям в Париже.

делить правительство от трона, и неужели считал возможным называть министров преступниками, не задевая того, кто этих министров назначал, держал на постах, а продержав некоторое время увольнял, большей частью с милостивым рескриптом? Есть в этом что-то загадочное, тем более, что вместе с Маклаковым так действовали и другие виднейшие общественные деятели, тоже считавшие, что сохранение преемственной верховной власти для России — вопрос жизни и смерти. Лично у Маклакова было, правда, его постоянное "абстрактное" представление об исторической реальности: царь — одно, совет министров — другое, и если первого не трогать, можно под его верховное, но уже ограниченное руководство беспрепятственно подставить обновленную государственную машину... будто не было Петергофа или Царского Села, где думские речи a priori считались враждебными, где подозрительность, а иногда и ревность к чужой популярности обуславливала колебания, где самодержавие во всеуслышание объявлялось "таким же, каким было встарь", где, наконец, дубровинские телеграммы воспринимались, как голос доброго, верного русского народа, православного, исконного русского мужичка, царя-батюшку обожающего и никаких перемен не требующего! Пока Маклаков судил о событиях, в которых лично еще участия не принимал, эта его склонность к схематизму — (" я не умею рассуждать, не обобщая", сказал он сам о себе), — побуждала его к известной прямолинейности в суждениях, и в особенности наглядно обнаружилось это в его оценке поведения общественных деятелей, отвергнувших приглашения Витте к сотрудничеству. Но позднее он сам стал деятелем, а не только свидетелем, стал участником, а

не только зрителем и критиком, — и оказался вынужден к той же тактической несговорчивости, даже непримиримости, что и те, кого он осудил. Маклаков мог бы, разумеется, возразить, что положение изменилось, что начала, возвещенные в Манифесте 17 октября, мало-помалу урезывались, ликвидировались и момент для сотрудничества был упущен. Все это так. Действительно, начиналась министерская "чехарда", а единственный из преемников Столыпина, еще обладавший какой-то долей здравого государственного смысла, Коковцев, продержался у власти недолго. Россией правил Распутин. Но даже учитывая катастрофический ход событий, как мог Маклаков при своей проницательности и своем консерватизме, к катастрофе подталкивать?

У него, в его писаниях, — подчеркну еще раз, — ответа на это нет. Но возможен ли вообще ответ? Даже при отсутствии расположения к исторической мистике, к слишком легким и легковерным ссылкам на судьбу в тех случаях, когда по Наполеону, действует только политика, или даже заурядная, повседневная политическая "склока", не вправе ли мы сказать, что тут действительно был Рок? Маклаков не раз упоминает о Немезиде: да, тут была Немезида, — и делала она свое дело с одинаковым усердием и в Думе, и в Царском Селе. Конечно, Рок — не объяснение: но оттого то на его неумолимом вмешательстве и приходится настаивать, что объяснения, разумного, логически приемлемого объяснения нет. Россия катилась к пропасти, и если бы в данном случае ирония была бы уместна, следовало бы сказать, что наладилось наконец то успешное сотрудничество власти с либеральной общественностью, о котором прежде можно было только мечтать. Ни

объяснить нельзя, ни осуждать нельзя: одно выте кает из другого. Случается, даже гениальные люди делают в настоящем ошибки, очевидные всякому, когда настоящее становится прошлым. Не все еще это почувствовали. Находятся люди, которые сами себя возводят в члены исторического трибунала, где роль прокурора обеспечивает им дешевые лавры.

В 1914 году диагноз, поставленный Маклаковым — "агония режима" — должен был показаться слишком торопливым. Внешняя опасность вызвала нечто похожее на внутреннее оздоровление, а то, что Россия оказалась в демократическом лагере, ослабило и подорвало пораженческие настроения даже у тех, кто при иной международной обстановке мог бы к ним быть склонен. Кадетский Центральный Комитет выпустил патриотическое воззвание:

— "Наш первый долг сохранить нашу страну единой и неделимой и защищать ее положение мировой державы, оспариваемое врагом. Отложим наши внутренние споры, не дадим противнику ни малейшего предлога рассчитывать на разделяющие нас разногласия и будем твердо помнить, что в данный момент первая и единственная наша задача — поддержать наших солдат, внушая им веру в наше правое дело, спокойное мужество и надежду на победу нашего оружия".

Со своей стороны царский манифест выражал пожелание, чтобы "в этот год страшного испытания внутренние споры были забыты и союз царя с народом укрепился". Однодневная сессия Государственной Думы 26 июля прошла при общем подъеме, а Милюков с трибуны заявил: "Мы в этой борьбе едины. Мы не ставим условий, мы ничего не требуем.

Мы просто кладем на весы войны нашу твердую волю победы".

Но это "священное единение" длилось недолго. Обстоятельства, вызвавшие разрыв, изложены и освещены в многочисленных трудах, дневниках, обзорах, воспоминаниях, и возвращаться к ним здесь не к чему. В нескольких словах их можно было бы свести к тому, что правые, и среди них даже некоторые члены правительства, как Щегловитов и Н. А. Маклаков, настойчиво стремились к скорей4шему примирению с Германией и повидимому не исключали возможности (во всяком случае желательности) сепаратного мира. Для тех же общественных групп, которые составили думский "прогрессивный блок", мысль о таком мире была абсолютно неприемлема, — не только потому, что мир был бы предательством по отношению к союзникам, но и в силу надежды, что победа над Германией в одном лагере с Францией и Англией, и при дружном содействии общественных сил, приведет Россию к демократическому обновлению. Война была популярнее в обществе, чем в правительстве, и если либеральная, конституционная общественность (впрочем на этот раз заодно с Пуришкевичем) вновь прониклась к правительству враждой и недоверием, то потому, что быстро утратила веру в его способность, а может быть и в его намерение, довести войну до победы. Сухомлинов считал, что война может продлиться "самое большее шесть месяцев", и еще в 1913 году заявил, что "Россия готова". Но готова она была, да и то с грехом пополам, именно только на полгода. На фронтах начались неудачи за неудачами. Правительство оттягивало созыв Думы, опасаясь запросов. А Дума, и вместе с Думой те общественные слои, которых при-

нято было называть "живыми силами страны", рвались к работе и видя все увеличивавшийся развал, пытались вдохнуть волю к победе и создать необходимые для нее условия.

Летом 1916 года Государь решил взять на себя верховное командование армией. Мотивы, побудившие его к этому, могли быть истолкованы различно, но кроме нескольких льстецов, или же людей, ко всему уже безразличных и все называвших "пустяками", как Горемыкин, не было в России никого, кто внезапным царским решением не был бы изумлен и встревожен. Восемь министров подали Николаю II заявление о том, что "теряют веру в возможность с сознанием пользы служить царю и родине" (за что, по выражению Горемыкина, получили от царя "нахлобучку"). Крайние монархисты были смущены перспективой личной ответственности царя за ход военных действий и нарушением вековых традиций, державшихся с петровского времени, согласно которым верховная власть при возможных военных неудачах оставалась вне критики. Общество приписывало решение царя озлоблению императрицы против "Николаши", т. е. против вел. кн. Николая Николаевича, и начало впервые говорить об "измене", связывая измену с именем Распутина. Впервые тогда же поползли слухи о том, чего не вспоминала Россия больше ста лет: готовился будто бы дворцовый переворот.

Маклаков в воспоминаниях своих объясняет решение царя мотивами возвышенными, связанными с его представлением о таинственном значении "помазанничества", а всякие другие соображения склонен отбросить, или по крайней мере признать второстепенными. Однако короткая, вызвавшая всероссий-

скую сенсацию, статья его о "Трагическом положении", появившаяся в "Русских Ведомостямх" 27 сентября 1915 года, написана несомненно под впечатлением откликов страны на решение Государя и волнений, этим решением вызванных. Прогрессивный блок, возглавляемый Милюковым, и одним из виднейших деятелей которого был Маклаков, при образовании своем мог претендовать на роль выразителя широких общественных настроений. Но когда по настоянию Горемыкина думская сессия был прервана, деятельность его оказалась ограничена, а программа этого "блока" стала уже расцениваться, как недостачная, устарелая, ни к чему реальному не ведущая даже и теми деятелями, которые еще недавно верили в возможность плодотворного сотрудничества с властью в тылу и на фронтах. Надо было действовать иначе, идти другими путями. Но какими? Где найти выход? На что решиться?

Статья Маклакова именно это недоумение и выражает. В ней нет определенных твердых указаний, нет призывов: есть только сознание опасности, есть уверенность, что катастрофа близка и что так или иначе предотвратить ее необходимо. Но не случайно Начальник Московского Охранного Отделения отметил в донесении Департаменту Полиции, что статья эта "встретила живейший отклик в самых широких общественных кругах": очевидно недоумение и беспокойство охватили всех, очевидно Маклаков выразил общие чувства. На этот раз речь была не о правительстве и министрах, а — как правильно указал автор того же полицейского донесения — о самой Верховной Власти.

"Вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге. Один неверный шаг — и вы безвозвратно

погибли. А в автомобиле — близкие люди, родная ваша мать.

И вдруг вы видите, что ваш шофер править не может; потому ли, что он вообще не владеет машиной на спусках, или он устал и уже не понимает, что делает, но он ведет к гибели и вас, и себя, и если продолжать ехать, как он, перед вами — неизбежная гибель".

Расшифровать эту аллегорию было не трудно. Шофер — правительство, царь, родная мать — Россия, это все поняли сразу. Труднее было понять, какие выводы следует из аллегории сделать и в чем "мораль басни".

"В автомобиле есть люди, которые умеют править машиной; им надо поскорее взяться за руль. Но задача пересесть на полном ходу нелегка и опасна; одна секунда без управления, — и автомобиль будет в пропасти.

Однако выбора нет, — вы идете на это.

Но сам шофер не идет. Оттого ли, что он ослеп и не видит, что он слаб и не соображает, из простого профессионального самолюбия или упрямства, но он цепко ухватился за руль и никого не пускает. Что делать в такие минуты?"

Что делать? — спросили себя вероятно вместе с Маклаковым и его читатели.

"Заставить шофера насильно уступить свое место"? Нет, этого Маклаков не советует. Это было бы хорошо "в обычное время, на тихом ходу ,на равнине", т. е. не во время войны. "Если бы даже, забыв об опасности, забыв о себе, вы решились силой выхватить руль, — пусть оба погибнем, — вы остановитесь: вы везете с собой свою мать, ведь вы и ее погубите вместе с собой".

Положение, согласно названию статьи, "трагическое". Приходится себя сдерживать, "отложить счеты с шофером до того вожделенного времени, когда минет опасность".

"Но что будете вы испытывать при мысли, что ваша сдержанность может все-таки не привести ни к чему, что даже и с вашей помощью шофер не управится, что будете вы переживать, если ваша мать при виде опасности будет вас просить о помощи, и не понимая вашего поведения, обвинять вас за бездействие и равнодушие? И кто будет виноват, если она, потеряв веру и в вас, на всем ходу выскочит из автомобиля?"

Больше года длились сомнения: как же спасти себя и "мать"? В речи, произнесенной в Государственной Думе 3 ноября 1916 года Маклаков сомнения отбросил. Речь эта оканчивалась словами: "либо мы, либо они". Яснее выразиться было невозможно.

М. А. Алданов, неизменно осторожный и вероятно опасавшийся, как бы не задеть Василия Алексеевича, писал в предисловии к маклаковскому юбилейному сборнику:

"Не решаюсь утверждать, что речь Маклакова на заседании Государственной Думы 3 ноября 1916 года была объективно революционна".

Термин этот он считает правильным в применении к знаменитой речи Милюкова о "глупости или измене", произнесенной двумя днями раньше, речь же Маклакова представляется ему менее резкой.

Кто перечтет обе эти речи подряд, одну за другой, едва ли с суждением Алданова согласится: негодующий тон, резкость выражений, сила обвинения в обеих речах одинакова, разница пожалуй только в том, что Милюков открыто говорил о "пышно ти-

тулованной истеричке", назначающей и смещающей министров, Маклаков же по отношению к трону ограничился намеками.

Но намеки его двояко истолкованы быть не могли и, конечно, поняты были всеми.

"Если нас приведут к позорному миру, — заявил он, — к миру в ничью, о, тогда берегитесь, потому, что позорного мира, мира ни в чью, Россия не простит никому. Она знает, что если бы это случилось, не Германия нас победила, а победил нас этот проклятый режим... И тогда Россия позовет всех к ответу, пощады не даст никому, я повторяю — никому!"

Был ли хоть один человек, не понявший значения этого повторного "никому", покрытого в Думе — по стенографическому отчету — "продолжительными рукоплесканиями и криками "браво"? В подтверждение и уточнение своей угрозы Маклаков тут же добавил, что "Государственная Дума не будет тогда просить пощады ни для кого".

В речи своей он спрашивал: "Где наше правительство? Кто управляет Россией? Кто хозяин этого громадного хозяйства? Кого, кого слушают у источников власти, куда к несчастью, повидимому уже не доходит единодушный голос страны?"

Зовем ли мы, — продолжал Маклаков, — к революции? Нет "звать к ней не нужно, потому, что революцию вызывают с министерских скамей". Дай Бог, чтобы Россия на этот призыв не ответила, но есть и другая опасность: Россия может придти в уныние, впасть в отчаяние, и тогда война будет проиграна.

"Что же нам делать, в чем наш долг? Прежде всего наш долг — сказать все до конца. Сказать потому, во-первых, что время еще не упущено: Рос-

сия сейчас, как воинская часть перед паникой; по инерции еще стреляют ружья, по инерции еще повинуются власти, но подозрение уже закралось — раздастся крик "спасайся, кто может! — и все побегут. Но если вместо этого появится вождь, которому поверят, если появится власть, эта часть будет стоять так же твердо, как стояла раньше.

То же будет с Россией. Время еще не ушло. Если Россия увидит, что властью назначены не слуги режима, а слуги России, если она у власти увидит людей, которым может поверить, то Россия, которая не хочет ни поражения, ни революции, Россия ухватится за эту власть и окружит ее полным доверием. Но это нужно сделать, не откладывая ни единого дня.

...А если наш голос не будет услышан, если подобно тому, как бывает в истории, обреченный режим будет бояться тех, кто его может спасти, и верить тем, кто его погубит вместе с собой, если будет распущена Дума — как будто можно распустить всю страну! — если на наших глазах будет зажжен пожар, на котором спалят доброе имя и национальную будущность родины, то тем более мы должны все сказать. Сказать затем, чтобы там, в стране, знали, что по крайней мере мы — не изменники, чтобы сбитая с толку страна не подумала о Государственной Думе: в этот момент вы промолчали, вы тоже нас предали. И если власть пойдет на авантюру и поведет нас к катастрофе, то Дума может еще понадобиться. Она еще может стать в будущем единой опорой власти, единственным оплотом порядка".

Маклаков дважды напомнил в течении своей речи, что революции не хочет и к ней отнюдь не зовет. Но дал понять, что считает ее почти неизбеж-

ной и что если правительство немедленно, “не теряя ни единого часа”, не одумается, то придется отказаться и от слова “почти”: революция окажется неминуемой, вопрос будет только в сроке. В предвидении революции он даже указал на роль, которую предстоит сыграть Думе, как оплоту государственного порядка против разгула и буйства ахеронтовых сил. Любопытно, между прочим, относящееся приблизительно к тому же времени свидетельство Милюкова о том, что в кадетских и других кружках “Маклаков определенно говорил о предстоящей революции”. Милюкова это “огорчало”. Накануне переворота он был очевидно осмотрительнее и сдержаннее, чем его младший товарищ по партии, когда-то упрекавший его в чрезмерной левизне. “Мне казалось, пишет Милюков, что чем больше представляют себе реальный образ революции, тем меньше следовало бы болтать о ее неминуемом наступлении и, так сказать, ее популяризировать”. На Думу и на ее сдерживающую, отрезвляющую силу он повидимому надеялся меньше, чем Маклаков.

Дня два или три после речи на тему “либо мы, либо они”, некто Корнеев, служивший у кн. Юсупова, человек лично Маклакову известный, явился к нему с вопросом, когда бы он мог князя принять. Свидание состоялось в тот же вечер. Маклаков предполагал, что кн. Юсупову нужен какой-нибудь юридический совет и что обращается он к нему, как к адвокату. Но дело у князя было иное: с первых же слов он заговорил о Распутине.

Даже если бы Маклаков об убийстве Распутина, — или точнее, об обстоятельствах, убийству предшествовавших, — ничего не рассказал, было бы ясно, что дело это, — которое Милюков совершенно

правильно назвал “безобразной драмой”, — должно было остаться для него одним из самых тягостных воспоминаний жизни. Самый факт, что человек столь уравновешенный, как Василий Алексеевич, мог, при своем культе закона и законности, к подобному делу иметь отношение, лучше всего другого показывает, что тогда было за время, до чего все были возбуждены, растеряны и сбиты ходом событий с толку.

Маклаков дважды коснулся в печати убийства Распутина: в первый раз — в большом письме на имя Я. Поволоцкого, издателя “Дневника” Пуришкевича, помещенном в виде введения к книге, затем, гораздо подробнее, в статье, появившейся в “Современных Записках” (“Некоторые дополнения к воспоминаниям Пуришкевича и кн. Юсупова об убийстве Распутина”, “С. З.”, № 34). В статье этой он пишет: “Я вовсе не отрицаю своей прикосновенности к этому делу; если бы дело дошло до суда, я подлежал бы уголовной ответственности, как пособник”. Но до суда дело не дошло, да и не могло дойти. Отчасти именно это вызывает отталкивание Маклакова, ибо противоречит всем его представлениям о праве, о законности. Однако не только это.

Было ли убийство Распутина актом политически осмысленным? По предположению кн. Юсупова оно должно было неизбежно привести к окончательному нервному расстройству Императрицы и устранению ее от дел, как душевно-больной. “Когда Император освободится от влияния своей жены, все переменится и он сделается хорошим конституционным монархом” (слова кн. Юсупова в передаче Маклакова). Но в действительности произошло нечто другое. Императрица с ума не сошла, а лишь укрепилась в

уверенности, что Государь и она окружены врагами. Милюков в "России на переломе" утверждает, что убийство Распутина не изменило ровно ничего. Керенский к удивлению Маклакова был убийством возмущен, подчеркнул в думской речи, что революционеры убивали "людей власти", но не покушались на частных лиц, и считал, к тому же, что режим, охарактеризованный Маклаковым как "проклятый", убийством Распутина поддержан. Общество, интеллигенция, те, кто в совокупности своей представляли "общественное мнение", были в восторге, — приблизительно таком же, как после 11 марта 1801 года, — наполовину безотчетно, поддаваясь лишь непосредственному чувству освобождения от какой-то темной силы, которой приписывали все невзгоды. Но простой народ в восторге не был. Маклаков рассказывает об одной из светских столичных дам, поспешившей в госпиталь сообщить раненым солдатам о счастливом событии. Солдаты слушали ее в хмуром молчании. Дама стала им растолковывать великий, радостный смысл случившегося, — пока один из раненых не сказал: "Да, только один мужик и дошел до царя. Так и того господа убили!" Больше всех ликовала родовая аристократия, в том числе почти все члены императорской фамилии, считавшие, что вел. кн. Дмитрий Павлович и кн. Юсупов поступили геройски, и даже обратившиеся к царю с ходатайством об их помиловани, хотя по справедливости никак нельзя было признать понесенное наказание слишком суровым: вел. кн. Дмитрий Павлович был выслан в Персию, кн. Юсупов выселен из Петербурга в свое имение. Государь ответил на ходатайство родственников "нахлобучкой", как выразился бы Горемыкин. В "нахлобучке" этой было во всяком случае больше

достоинства и даже человечности, чем в обращении, ее вызвавшем.

Маклаков вспоминает обо всем этом с большой грустью, но без стремления убедить, что в деле убийства Распутина он был в сущности "ни при чем". Исправляя рассказы Пуришкевича и кн. Юсупова он, разумеется, с особой настойчивостьх опровергает сообщения, которые считает фактически неверными: например то, что цианистый калий для начинки пирожных был доставлен именно им, Маклаковым. Иногда разъясняет он и другие подробности дела, главным образом такие, которые без этого могли бы дать о его участии представление мало привлекательное, — как отъезд в Москву, для доклада по крестьянскому вопросу в Юридическом Обществе, именно в ту ночь, когда должно было произойти убийство. На присутствии Маклакова в его доме настаивал кн. Юсупов. Но в последнюю минуту, по предложению вел. кн. Дмитрия Павловича, было решено, что кадет к такому патриотическому делу прямого отношения иметь не должен, и что совершить его надлежит "истинным и преданным монархистам". Препятствия для отъезда отпали, и Маклаков был тем более этим удовлетворен, что отменить давно назначенный доклад было по словам председателя Юридического Общества невозможно.

Василия Алексеевича видимо тогда не смущало то, что должно было стать ему ясно после революции. Впрочем не он один находился в заблуждении насчет последствий "безобразной драмы". Как это ни парадоксально, именно в тех слоях общества, которые должны были бы Ахеронта особенно опасаться, убийство вызвало наибольшие надежды и ликование.

А разве не было оно прологом к революции?

Кто эти дни пережил, в Петербурге или хотя бы в Москве, помнит, конечно, какое невероятное волнение какой "шок" это убийство вызвало. Бесследно пройти это не могло. Когда человек опасно болен, родные и близкие, по настоянию врачей, оберегают его от всего, что может вызвать сильное нервное возбуждение, — иначе возможен роковой исход. Россия была в декабре 1916 года тяжело больна. Весть о том, что произошло в юсуповском дворце на Мойке, притом за отсутствием печатных сведений, передававшаяся со всяческими искажениями или фантастическими добавлениями, слухи, шепоты, догадки, — как отнесется "она"? что скажет "он"? — все это уже создавало революционную, горячечную обстановку и к революционному взрыву готовило. Все ждали грозных событий, предчувсотвовали их. По стране пролетел предгрозовой ветерок. Вопреки предсказанию Керенского, сделанному им в беседе с Маклаковым, убийство Распутина не укрепило монархии, а нанесло ей решающий удар, не только лично Николаю II и царице, но и всему тому, что они исторически представляли, от чего были неотделимы. Ненависть к Распутину, — в сущности даже не к человеку, а к символу, — с его смертью не исчезла, а прорвалась дальше и все на пути своем смела, — как всегда бывает с ненавистью, когда ей дадут волю. С монархической точки зрения, самодержавной или конституционной все равно, тем более во времена, когда монархия висела на ниточке, безумием было допустить преступление на подступах к трону, потому, что само собой в разгуле человеческой природы возникло стремление пойти и выше. Распутинское убийство было каким-то сигналом к тому, что в России отныне "все позволено", и через два месяца вы-

сокопставленные молодые люди, опрометчиво пожелавшие с болтуном Пуришкевичем Россию спасти, должны были понять, какой жалкой игрушкой оказались они в руках судьбы. Маклаков это понял во всяком случае.

Впечатление от первой беседы с кн. Юсуповым было у него отрицательным. Казалось, "все это мало серьезно". Юсупов подчеркнул, что не намерен лично убить Распутина: это, по его мнению, должны сделать революционеры. Маклаков запальчиво возразил: "А что у меня контора наемных убийц?"

На этом разговор и кончился. Не в пример Пуришкевичу, считавшему, что все русские неурядицы и бедствия — от Распутина, Маклаков большого значения "старцу" не придавал. Пуришкевич произнес в Думе 19-го ноября громовую речь против Распутина, "этой неугасимой лампады в царских покоях", этой "казни египетской", этого "ужаса". Маклаков подчеркивает, что лично "никогда, ни одним намеком в Думе не касался Распутина".

Второе свидание с кн. Юсуповым было гораздо менее натянутым. Перед этим Пуришкевич в Думе предупредил Маклакова, что о наемных убийцах больше речи нет и что в заговоре участвуют "только интеллигентные люди" (выражение несколько удивившее Василия Алексеевича). Маклаков "ужасался непрактичности кн. Юсупова", в частности считал Пуришкевича человеком совсем не подходящим для роли заговорщика. ("Пуришкевич и тайна казались вещами несовместимыми, а тайна в таком деле была важнее всего"). Но то, что князь решил действовать лично, расположило его к нему.

"Я не ждал спасения России от убийства Распутина. Но отговаривать Юсупова от того, что он ре-

шил, я больше не пытался. Бесполезность этого была очевидна. Дело оказывалось не простой болтовней, как сначала я думал. Юсупов обнаружил настойчивость и решительность, и наконец, был уже не один. Как бы я ни относился к убийству, оно все равно совершилось бы. Я не мог ему помешать, но и не хотел помогать. Я не стал больше ни спорить с Юсуповым о политическом смысле затеянного им убийства, ни разбирать его моральную сторону... Я хотел предостеречь его от таких шагов, которые могли бы лишить его дело даже того смысла, который он в нем видел. Мне была ясна практическая неподготовленность всех этих людей. У меня было больше, чем у них наблюдений над тем, как делаются и как раскрываются преступления, и я не отказывался помочь им своим опытом".

Кн. Юсупов предполагал, что труп Распутина будет увезен в поезде Пуришкевича на фронт, а следы убийства скрыты. Маклаков убедил его, что, наоборот, ни у кого никаких сомнений в совершившемся быть не должно: нужен труп. Иначе Императрица не поверит, что Распутин убит и "найдутся люди, которые не постесняются действовать его именем". Но особенно настаивал Маклаков на том, что убийцы не должны быть обнаружены. "Я не сомневался, что усиленно искать их и не станут. Но необходимо было создать возможность их не найти".

Судебный процесс по такому делу был бы немыслим. Закон не предвидел случаев преступного сообщничества членов Императорской фамилии с простыми гражданами, вел. кн. Дмитрий Павлович был бы подсуден только Государю, остальные подлежали бы общей уголовной ответственности, — и легко себе представить, что за речи произнесли бы

адвокаты на подобном публичном процессе! Надо было на этот раз сотрудничать с правительством, помочь ему в том, чтобы виновники не были обнаружены, — и это совпадало с желанием кн. Юсупова. Но подвел Пуришкевич. Как известно, после убийства он вызвал городового, показал ему труп Распутина и назвал себя, взяв с него слово молчать. Городовой немедленно доложил обо всем по начальству. Маклаков недоумевал: как теперь избежать судебного следствия? Но его успокоил Директор Уголовного Департамента Лядов, с которым он встретился через две недели после убийства: дело было поручено, как и полагается, судебному следователю, однако со внушением ничего не найти и за отсутствием улик следствие прекратить.

Рассказ Маклакова во многом расходится со свидетельствами непосредственных участников преступления. В частности "дневник" Пуришкевича он отказывается признать дневником и считает его документом недостоверным, сфабрикованным впоследствии. Когда-нибудь убийство Распутина, один из тех темных и страшных эпизодов, которыми достаточно богата русская история, привлечет к себе внимание беспристрастного исследователя, который и разберется во всех его обстоятельствах, отделит в нем "поэзию" от "правды". Отметит он вероятно и то, что Маклаков, признавая свою причастность к разработке планов убийства, настойчиво и резко отмежевывается от тех форм,,в которых оно оказалось осуществлено.

"Нельзя было сделать его, — пишет Маклаков, — более неловко и неудачно. Убийцы не сумели ни себя скрыть, ни сделать себя симпатичными. Вместо загадочной смерти, которая могла бы поразить на-

родное воображение, быть приписанной таинственному мстителю, исторической Немезиде, все узнали неприглядную истину, услышали про западню в доме кн. Юсупова и про отталкивающую обстановку убийства приглашенного гостя, узнали, наконец, имена убийц, которых их личное положение спасало от наказания. Долг этих лиц перед Россией был сделать свое дело так, чтобы остаться для всех неизвестными. Этого сделать они не сумели. И когда, после убийства, совершенного у всех на глазах, они тем не менее стали отрицать свое участие в деле, стали заведомо лгать, их поведение сделалось непонятным и соблазнительным. Безнаказанность, которой они воспользовались, давала печальное представление о силе закона в России, заставила всех понять, что власть не посмела тронуть виновных... Все вместе выявило с необычайной яркостью глубокий и роковой разлад в самой сердцевине русского государства".

В феврале 1917 года "разлад" привел к "катастрофе": ставлю эти слова в кавычки, так как это выражения самого Маклакова. Но "разлад" мог бы по его мнению к "катастрофе" и не привести.

Был ли уверен в этом Маклаков и **в то время?** Утверждать этого нельзя. Если судить по его предреволюционным выступлениям, приходится скорей сказать, что революцию он считал неизбежной, — о чем свидетельствует и Милюков. За два года до нее, в статье о "безумном шоффере" он указывал, даже, что "к счастью в автомобиле есть люди, которые умеют править машиной" и что "им надо поскорее взяться за руль". Но позднее, ко времени своих эмигрантских воспоминаний он мнение об их "умении править" изменил.

"В феврале 1917 года революции могло и не быть, — пишет Маклаков. — Отречение — не революция. Государь не ограничился одним отречением. Он сопроводил его актами, которые тогдашний конституционный строй улучшали в том смысле, которого давно добивалась общественность. Он передал престол Михаилу, заповедал преемнику управлять в нерушимом единении с представительством, принести в этом присягу; сам задним числом назначил главою правительства лицо по указанию представителей Государственной Думы. Можно было бы оспаривать "законность" этих распоряжении, но при принятии их, Россия стала бы не только конституционной, но парламентской монархией. Старая борьба между монархом и представительством могла бы смениться их совместной работой на защиту конституции и на благо страны. И знаменательно, что такого исхода не допустили тогда не республиканцы по убеждениям, не революционеры по темпераментам, что с их стороны было бы только последовательно, но и лояльные, монархические, конституционные партии, которые составляли тогда Временный Комитет Государственной Думы. Они оказали тогда на великого князя давление. Они убедили его отречься и объявить трон вакантным до изъявления своей воли Учредительным Собранием. Государственную Думу они созывать не хотели. Новое правительство признали назначенным не государем, а созданным "волей народа". Конституция этим была полностью упразднена. Всякая связь между новой властью и старым порядком была разорвана. Это и было уже подлинной революцией, сдачей власти "революционным Советам", что прямой дорогой повело к октябрю" ("Из воспоминаний", стр. 377).

Замечателен в этих строках отвлеченно-юридический подход к реальности, замечательна та “абстрактность”, которую не раз уже приходилось мне отмечать. Маклаков полностью обходит вопрос, мог ли Михаил взять власть не на словах, а на деле, была ли у него хотя бы слабая надежда на престоле удержаться. Он рассуждает так, будто революция — нечто вроде беспорядка, который можно прекратить, если своевременно принять соответствующие административные меры. Как всем сзвестно, один Милюков открыто возражал против отречения Михаила, один он, чуть ли не на коленях, умолял великого князя принять верховную власть, — хотя несомненно сознавал, что на благополучный исход такого решения шансов до крайности мало. Милюков оттого-то и был непривычно для себя взволнован, что совет его был продиктован не надеждой, а отчаяньем (в большей степени, кажется мне, отчаяньем историка, чем политика). Дело было ведь не в том, желательно или нежелательно сохранение монархического строя, а в том, что его уже невозможно было спасти, что сроки были упущены и Михаил не процарствовал бы и двух-трех дней. Кто же тогда, при уже прорвавшем все плотины Ахеронте, мог это не чувствовать, не понимать? Маклаков на совещании у великого князя не был, если бы присутствовал, то вероятно Милюкова поддержал бы. Но едва ли были у него тогда те иллюзии, которым он на склоне лет, в предпринятой им “переоценке ценностей” придал вид твердого убеждения.

Есть впрочем факт, свидетельствующий, что юридическое восприятие революции порой и в те времена преобладало в его сознании над всяким другим ее истолкованием. Правда, эпизод этот отно-

сится уже к лету 1917 года, когда от февральского энтузиазма не осталось следа и у тех политических деятелей, которые всем пылом своих идеалистически настроенных сердец в февраль поверили... Маклаков встретился в дни корниловского восстания с ген. Алексеевым и заявил ему, что если военная власть намерена восстановить в стране государственный порядок, то она обязана вернуться к последнему легальному акту русской истории, отречению Императора Николая II, и возвести на престол Михаила. Ген. Алексеев руками развел: "Как? Вы хотели бы восстановить монархию? Да ведь это совершенно невозможно!" — "Невозможно? Ну, в таком случае не о чем и говорить. Все остальное бесполезно. Бесполезно побеждать революцию, чтобы ее утверждать и узаконивать".

Этот удивительный диалог очевидно вызвал глубокое недоумение не у одного только Алексеева: в более или менее схожих версиях он приведен и у нескольких мемуаристов, в том числе и у Милюкова. Лучшим комментарием к нему может служить замечание Маклакова о самом себе в "Воспоминаниях": "я слишком юрист".

"Основным идеям февраля Маклаков не мог не сочувствовать", — утверждает Алданов в предисловии к юбилейному сборнику речей Василия Алексеевича, — тут же подчеркнув, что он "совсем не верил в успех февральской революции". Основные идеи февраля были, в самом деле, идеями обще-демократическими, и должны были быть Маклакову в те времена близки, особенно в отвлеченном виде, вне русского исторического "контекста". Отталкивало и пугало его лишь то, с какой стремительностью идеи эти пришли к торжеству и как по существу оказа-

лись неустойчивы. Игра с огнем кончилась, начался пожар. Маклаков с горькой иронией (во вступлении к "Первой Государственной Думе") вспоминает о "всеобщем упоении счастьем и восторгом" в первый период февральской революции. Сам он настроен был скептически. По утверждению Алданова он питал "отвращение к революции, ко **всякой** (подчеркнуто Алдановым) революции" и именно этим следует будто бы объяснить, что в состав Временного Правительства он не вошел.

Объяснение довольно спорное. Маклаков мог бы принять пост революционного министра именно с намерением сопротивляться революционным крайностям, для отстаивания тех правовых начал, которые были ему так дороги. Другой вопрос, долго ли он удержался бы в правительстве. Сам Василий Алексеевич не раз говорил, что портфеля ему никто и не предлагал. Казалось бы его кандидатуру должен быть выдвинуть, или во всяком случае поддержать, в качестве общепризнанного лидера кадетской партии Милюков, но расположения к этому он повидимому не чувствовал. Впрочем в "Воспоминаниях" своих Милюков говорит:

"Знающие меня близко, могут удостоверить, что я никогда не стремился сам занять первое место. Если иногда я на нем и оказывался, то так слагались обстоятельства, и я принимал совершившийся факт, как исполнение моего общественного долга. Обстоятельства же при создании Временного Правительства сложились гораздо иначе, и я принял в нем ту долю влияния и власти, которую приписывало мне единодушное общественное мнение. В общем итоге эта доля была не велика: она оказалась меньше, чем я хотел бы".

Алданов считает, что так или иначе Маклаков "обязан был войти в правительство", помочь ему "своим именем, популярностью, умом и талантом", и приводит исторические примеры для иллюстрации того, как в девяти случаях из десяти люди при демократических порядках становятся министрами: "надо шепнуть кому следует, что уступая чувству долга, по государственным и патриотическим соображениям, мосье Дюбуа готов принести себя в жертву и принять бремя власти на таком-то ответственном посту".

Так в самом деле вероятно и бывает, но едва ли примеры эти были бы убедительны для Маклакова. Склонности к лицемерию у него никогда не было, не было и преувеличенного самомнения, которое заставило бы его решить, что в смутные и трудные дни Россия без него обойтись не может.

Министром Маклаков не стал. Но когда Временное Правительство предложило ему пост посла в Париже, предложение он принял. И принял с радостным облегчением. Об этом он говорил много позднее, в эмиграции, некоторым своим близким друзьям: он рад был уехать в Париж, любимый свой город, связанный с лучшими воспоминаниями молодости, перестать быть бессильным свидетелем постепенного русского государственного разложения, объяснить союзникам, что в России происходит и чем могут они ей, а заодно и самим себе, помочь.

Не знал Маклаков только того, что к приезду его в Париж, правительство, назначившее его своим представителем, перестанет существовать.

После революции

В беседах с ближайшими друзьями Маклаков,— если порой заходила речь о его будущей биографии, — неизменно и настойчиво говорил:

— Пожалуйста пусть только ничего не пишут о моей деятельности здесь, в эмиграции!

Повидимому он считал, что основное, важнейшее в его жизни было там, в России. Там он действительно жил, здесь — только доживал. До известной степени это верно в отношении всех русских дореволюционных общественных деятелей, но только до известной степени, и в отношении Маклакова пожалуй менее верно, чем для других.

Едва ли у Василия Алексеевича была уверенность, что желание его будет исполнено. Обойти молчанием его деятельность в эмиграции невозможно.

Вероятно он имел в виду лишь чисто деловую ее сторону, — и чтобы в первой книге о нем не была слишком нарушена его воля, приходится в этой части изложения ограничиться лишь общими сведениями.

Положение Маклакова в качестве российского посла во Франции было с самого начала трудным и неясным. Верительных грамот он не вручил, — так как ничего реального уже не представлял. Если бы Временное Правительство было восстановлено вне

русской территории, посол мог бы сослаться на существование власти, которую по условиям того времени иностранные государства вероятно признали бы единственной законной. Но за Маклаковым не было ничего, а советское правительство, наперекор единодушным предсказаниям, все держалось и даже, — в согласии с первой фразой Ленина в Смольном после переворота, — "занималось социалистическим строительством". Правда, всем казалось, что это лишь отсрочка: пройдет месяц, два, на крайность полгода, и большевики падут. Нет сомнения, что так смотрел на дело и Маклаков. Но надежды оставались надеждами, мнимая "отсрочка" затягивалась. Брестский мир вызвал во Франции общее негодование, а упреки в предательстве, — особенно у рядового "обывателя", всегда и во всем верного своей умственной косности и слепоте, — оказались немедленно перенесены с большевиков на Россию вообще. Брестский мир возбудил руссофобство, может не долгое, но тем более ожесточенное, что еще недавно Россия представлялась верной и мощной союзницей.

Маклаков вспоминал это время с горечью и рассказывал о случаях, когда ему приходилось вступаться за русскую честь и указывать, что если уж критиковать, а тем более обвинять Россию, то надо бы лучше разбираться в происшедших событиях и знать, кто за них ответственен.

Но его личные свойства, ясность его мысли и то благородство, с которым он держался в парадоксальной роли посла исчезнувшей великой державы, были оценены в правительственных кругах. Нужен был в самом деле большой природный такт, чтобы найти среднюю линию между ничем не оправданными претензиями и унизительной позой бесправного проси-

теля: Маклаков сразу ее нашел. Конечно, основные вопросы мировой политики в те годы решались негласными диктаторами, Вудро Вильсоном, Ллойд-Джоржем и Клемансо, а отсутствие России частично развязывало им руки и позволяло поступать так, будто ее не к чему и принимать в расчет. Но когда им случалось с Маклаковым встречаться, они повидимому отдавали себе отчет, что этот человек может их многому в русских делах научить и достоин был бы великую державу представлять.

Показателен в этом отношении рассказ В. В. Вырубова, бывшего в 1919 году Управляющим делами Русского Политического Совещания. В Совещании этом Маклаков был одной из руководящих фигур, и, — кстати, можно вспомнить — позднее утверждал, что среди его участников особенно оценил Извольского, своего предшественника на посту посла в Париже. Извольский по его словам отлично разбирался в международном положении, быстро схватывал чужую мысль, находил правильные решения. Наоборот, Сазонов, бывший Министр Иностранных Дел, Маклакова разочаровал, как человек растерявшийся и сравнительно с Извольским даже мало осведомленный.

По рассказу В. В. Вырубова на одном из "политических обедов" у Шарля Саломона, устраивавшего у себя по пятницам встречи видных русских и французских деятелей, Дютаста, генеральный секретарь Версальской мирной конференции, сообщил, что утром в этот день Маклаков был приглашен Вильсоном, Ллойд-Джорджем, Клемансо и Орландо высказать свое мнение о предположенном присоединении Бессарабии к Румынии.

Речь свою Василий Алексеевич начал с выражения благодарности за внимание, а затем сказал:

“Господа, давайте мечтать! Я представлю себе, что предо мною находятся свободные люди, которые могут высказывать свободные мнения и принимать свободные решения, а вы вообразите, что, перед вами полномочный посол великой России”.

Дальше следовал обстоятельный доклад, весь смысл которого был в том, что Бессарабия должна остаться русской. В заключение Маклаков сказал:

“Господа, я кончил. Мечты наши должны кончиться тоже. Передо мною люди, решение которых по настоящему вопросу уже принято, и это решение внушено им не их совестью, а политическими соображениями, важность которых я не оспариваю. А перед вами, господа, человек, не имеющий никаких полномочий, посол не вручивший своих верительных грамот. И все же я еще раз благодарю вас за то, что выслушать мнение представителя России вы пожелали”.

Дютаста добавил: “Я взглянул на Ллойд-Джорджа, на Клемансо, на Вильсона, на Орландо и мне почудилось, что глаза их стали влажными. Но может быть это тоже была только мечта. Вернее было бы предположить, что на глазах этих людей никогда — или во всяком случае очень давно — слез не появлялось”.

В Париже к тому времени собралось уже довольно много видных русских политических и общественных деятелей с различным прошлым, с различными взглядами, надеждами, расчетами. Объединены они были лишь одним: резко отрицательным отношением к ленинской диктатуре. Но расходились во всем другом.

Гр. Коковцев рассказывает в своих "Воспоминаниях", как был он изумлен, когда в Лондоне исправляющий должность русского посла К. Д. Набоков прочел ему только что полученную из Парижа телеграмму Маклакова о предстоящей мирной конференции и о необходимости добиться участия в ней представителей России. Он, Маклаков, уже снесся по этому вопросу с Адм. Колчаком, и состав делегации намечен следующий: Коковцев, Сазонов, Набоков, Гирс, кн. Львов, Извольский, Авксентьев, "еще кто-то из эс-эров", и сам Маклаков. Своего изумления Коковцев не скрыл, признал состав предположенного представительства "крайне оригинальным" и выразил уверенность, что никто из русских все равно к полноправному участию в конференции допущен не будет. "Наше согласие или наш протест ведь ничего не стоят".

"Следует думать только об одном и добиваться только одного — интервенции, руками той же Германии, под контролем союзников-победителей, уничтожения большевизма и восстановления порядка в России, т. к. без этого Россия погибнет окончательно и станет очагом, из которого яд коммунизма проникнет во весь мир". Ледяным душем, или, как он пишет, "полным откровением" была для Коковцева беседа с французским послом в Лондоне Полем Камбоном. Камбон сказал:

"Никакой интервенции вы не добьетесь и ее не будет. Мы страшно устали и обескровлены. Мы считаем, что теперь все кончено и хотим, как можно скорее залечить наши раны. Всякий, кто станет говорить о новом усилии в России, встретит самое решительное противодействие, и агитация против это-

го объединит столько разнообразных элементов, что не устоит никакое правительство. К тому же мы, французы, не одни, а в Англии, и еще больше в Америке, положительно никто не желает вмешиваться в русские дела и их не понимает. Рабочим здесь представляется, что большевики — это друзья и защитники бедного пролетариата, а вы все, защищаете ваши привилегированные положения и в глубине души думаете восстановить монархию или что-либо иное, но во всяком случае, в существе, старый порядок".

Эту, довольно длинную цитату, прямого отношения к деятельности Маклакова не имеющую, я привел не случайно: она крайне характерна для политического настроения первых послевоенных времен, и взглядов, с которыми столкнулись на Западе русские беженцы. Конечно, и среди русских многие были решительно против интервенции и утверждали, что ни при каких условиях иностранное вмешательство в русские дела недопустимо. Если когда-нибудь будет написана история этого периода, картина получится пестрая: в чем только наши политические деятели друг друга ни упрекали, каких замыслов идейным противникам своим ни приписывали! Но иначе и быть не могло. За-границей оказались представители всех русских политических течений, кроме большевиков. Интеллигенция была за рубежом и знала, что та часть ее, численно пусть и преобладающая, которая добровольно или поневоле осталась на родине, ей в огромном своем большинстве сочувствует и на нее возлагает надежды. Расхождения были неизбежны и даже вполне нормальны, — тем более, что осуществление разрабатываемых на чужбине планов, с интервенцией или без нее, каждому

казалось близким, и чемоданы у всех стояли наготове.

В 1921 году появился советский декрет о лишении права гражданства лиц, покинувших Россию после октябрьской революции и участников белого движения. С этого момента самое понятие эмиграции перестало для русских быть растяжимым, поддающимся разным толкованиям, — как бывало до революции в применении к людям, враждовавшим с царским строем, но имевшим возможность в любую минуту вернуться на родину. С этого же времени роль и положение Маклакова в Париже начали постепенно приобретать иной оттенок, иной характер. Дипломатическая его миссия, в рамках которой он с ревнивой принципиальностью держался на первых порах, все явственнее теряла всякое реальное содержание. Зато возрастало его значение, как представителя, помощника, заступника, ходатая, советника, — сначала случайного, затем постоянного и общепризнанного, — тысяч и тысяч русских людей, которым чужая страна дала приют, сама еще не решив, каковы их права и каковы обязанности.

Лишь в 1924 году, после признания Францией советского правительства, был создан при участии Маклакова Эмигрантский Комитет, внутренне расколовшийся на две политические группы, правую и левую, но внешне сохранивший единство. Этот Комитет стал выдавать документы, т. е. удостоверения, свидетельства, справки, все, что могло быть необходимо людям, которые, случалось, бежали из России, не имея на руках ни паспорта, ни метрики, ничего решительно. Документы еще не имели официально-признанного, бесспорного значения. Однако, французское правительство указало префектам, что их

следует считать dignes de confiance, хотя и с внушительной оговоркой: "под вашей личной ответственностью". Префектам рекомендовалось доверие, но рекомендовалась и осмотрительность.. (Повидимому первая, важная для правового положения русских эмигрантов мера была принята при содействии Коковцева, который был в дружеских отношениях с Пуанкарэ и, как сам указывает в своих мемуарах, никогда не встречал с его стороны отказа в делах, эмиграции касающихся).

Позднее в Женеве был создан и признан Лигой Наций Международный Комитет частных организаций для выработки общего беженского статута. Явление "беженства". прежде не существовавшее, становилось чем-то настолько распространенным, а его естественная и безболезненная ликвидация, настолько проблематичной, что европейские государства сами были заинтересованы в упорядочении или даже разрешении этого вопроса. Из русских организаций в Женеве представлены были Земгор, Красный Крест, Союз Инвалидов, некоторые другие. Заседаний было множество, обсуждение представленных проектов длилось больше года, но из-за недоразумений и путаницы при голосовании, принятым оказался только некий "Arrangement", а не окончательный Статут, как предполагалось вначале. Маклаков лишь изредка приезжал в Женеву, но женевские начинания он во Франции проверял на практике, а в письмах к друзьям, в Комитете работавшим, указывал на степень желательности той или иной из намеченных мер, разъяснял трудности, которые могут встретиться, давал советы, словом, как человек уже опытный в вопросе об отношениях чужеземных правительств к эмигрантам, всячески содействовал

тому, чтобы Статут оказался наиболее приемлемым*).

Временный "арранжеман" был заменен через несколько лет международной конвенцией, подписанной в 1933 году, но вошедшей в силу лишь 1936 г. После войны наплыв новых беженцев, установление новых границ и изменение всей международной обстановки вызвали потребность в новой конвенции, которая была утверждена в 1951 году и действует до сих пор. Однако французская администрация в некоторых вопросах, касающихся довоенной русской эмиграции, руководствуется по прежнему Конвенцией 1933 года, более либеральной по духу.

Разумеется, в трудах по выработке правовых норм для людей, которые в качестве непрошенных гостей могли в иных случаях стать жертвой произвола, — если и не правительственного, то чиновничьего, — Маклаков принимал участие самое деятельное. Однако обстоятельный рассказ об этом не входит в мою задачу и тоже, — вместе с общей историей возникновения и первых лет существования русской эмиграции, — должен бы стать предметом особого очерка. Умышленно я ограничился лишь сухим перечислением фактов.

Маклаков был натурой слишком широкой, интересы его были слишком разносторонни, чтобы и на посту посла, — или позднее главы эмигрантского "оффиса", — замкнуться в сфере повседневной работы. Он вынес из России привычку к постоянным, дружеским или деловым сношениям с "обще-

---

*) Все это многим нашим соотечественникам осталось неизвестно, а если и было известно то давно ими забыто. Пользуюсь случаем выразить живейшую благодарность Я. Л. Рубинштейну, одному из деятельных участников женевских совещаний, сообщившему мне эти сведения.

ственностью": слово непереводимое, специфически русское, которому суждено может быть, на подобие слова "интеллигенция", войти в иностранные языки, (препятствием окажется пожалуй лишь то, что иностранцам будет нелегко его произнести!). Где бы Маклаков ни появлялся, внимание было обращено именно на него, — о чем рассказывает Алданов в предисловии к юбилейному сборнику маклаковских речей.

"И в столовой, и в гостиной Василий Алексеевич говорил много, чрезвычайно интересно, всегда с большим оживлением. При этом жесты и интонация у него бывали совершенно такие же, как на трибуне Государственной Думы или в петербургском, в московском суде: все было совершенно естественно. Разумеется, в огромном зале Таврического Дворца он говорил громче, но и там никогда не кричал, — великая ему за это благодарность! Когда человек, дойдя до очередного Александра Македонского, вдруг с трибуны начинает без причины орать диким голосом, это бывает невыносимо... И еще спасибо Василию Алексеевичу за то, что в его речах почти нет "образов". Образы адвокатов и политических деятелей — вещь нелегкая. В начале первой войны один известный оратор все говорил образные речи. Самым лучшим его образом было то, что Германия бронированным кулаком наступила на маленькую Бельгию. Помню уже в эмиграции образную речь другого известного оратора: он долго говорил о "чертополохе большевистского яда". Бунин, слушая, только тяжело вздыхал. Римляне находили, что о малых вещах надо говорить просто и интересно, а о великих — просто и благородно. Именно так говорил Маклаков".

Из публичных выступлений Василия Алексеевича в первое десятилетие эмиграции надо выделить речь о Пушкине на празднике Русской Культуры, в июне 1926 года. Не помню, к сожалению, как отнеслись к ней слушатели, но допускаю, чтобы были они частично разочарованы, — если не самой речью, как всегда блестящей и содержательной, то ее особым характером. Многие верно заранее спрашивали себя, что скажет Маклаков о пушкинской поэзии о пушкинском гении, — зная, что в прошлом речи о Пушкине превращались порой во всероссийское событие, как было в 1880 году, когда Достоевский в Москве вызвал в зале рыдания и обмороки. Многие помнили и речь Блока за несколько месяцев до его смерти, в ледяном зале Петербургского Дома Литераторов на Бассейной: воспоминание трагическое, которое едва ли когда-нибудь изгладится в сознании очевидцев и слушателей.

Маклаков остался верен себе, верен своей природной скромности. Он не пожелал говорить о том, что считал областью, если и не совсем для себя чуждой, то все же не привычной. Как в своих писаниях о Толстом, он почти никогда не говорит о художнике, — указывая, что об этом "все сказано", хотя сказано о Толстом далеко не все и он, Маклаков, мог бы сказать еще многое такое, чего не заметили или не поняли другие, — так и в речи о Пушкине он пушкинского творчества не коснулся, предпочтя говорить, пусть и в связи с Пушкиным, об особенностях русской культуры, о долге эмиграции и о нашем вероятном будущем.

Он начал с напоминания, что в России никогда не было национального праздника. Были царские дни, но царские дни — совсем не то, и с каждым

новым монархом дни эти менялись, что их временный характер подчеркивало. Потребность в таком празднике возникла в эмиграции, когда Россию мы потеряли и она стала нам еще дороже, чем была. В других странах национальные праздники приурочиваются к памятным всему народу политическим событиям. У нас в прошлом такого события не было, и даже 19 февраля объединить русских людей не могло. "Мы можем мечтать и надеяться, — сказал Маклаков, — что в будущем события сложатся так, что создастся определенный день радостного перелома, день обновления и примирения, в котором все признают дату национального праздника": явный намек на неизбежное, по тогдашним предположениям, падение большевиков.

До наступления этого дня русские люди объединяются в чествовании Пушкина. Но есть и другое, более глубокое основание для предпочтения имени литературного имени или событию политическому. Образ Пушкина, творчество Пушкина опровергают все сильнее распространяющееся "суеверие о всемогуществе государства".

"В наше переходное время естественно вспомнить, что наряду с государственной формой, в которую сложился народ, есть совокупность свободного без всякой принудительной силы, народного творчества, которое развивается по другим основаниям и которое мы называем культурой".

При встрече с Пушкиным государство обнаруживает свое бессилие. Оно может убить Пушкина, но не может его создать. "В области культуры обнаруживается истинное назначение государства: создавать для народа условия, в которых может раз-

виваться и процветать его свободная деятельность. Это очень много, но это и все".

Русское государство исчезло. То, что создано на его развалинах, нас отталкивает и ужасает. Но русская культура жива, и ее живучесть, ее сила и красота внушают нам уверенность, что **"мы не можем погибнуть"** (подчеркнуто Маклаковым). Эту уверенность разделяет и Запад.

Советская власть "грубая, самоуверенная и невежественная" утверждает, что культуре она покровительствует. Именно своим покровительством она подвергает ее великой опасности. Наш иссторический долг в отношении культуры ясен. "Если позволительно сомневаться, чтобы отсюда мы были в силах служить государству, то мы можем по крайней мере служить нашей культуре". Но есть опасность и здесь. Русские всегда отличались переимчивостью, в этом была даже одна из сильных сторон русской цивилизации, и именно на этом Достоевский построил свою речь о Пушкине. Здесь, в эмиграции "чужое может задавить наше родное". Здесь мы "должны защищаться, должны считать недостатком то, чем прежде в себе дорожили".

"Мы должны беречь свои культурные достижения со скупостью человека, который не имеет права быть расточительным. Мы защищаем последнее, защищаем то, что не нам одним принадлежит".

Другая опасность — постепенное превращение русской культуры в эмигрантскую. Избежать этого можно только сохраняя связь с прошлым. "И мы, и они там, в России, — одинаковые последствия нашего прошлого". Если мы не разорвем связей со старой Россией, то "в новой России не окажемся

иностранцами, и несмотря на все наши различия, друг друга поймем".

В речи этой у Маклакова еще чувствуется оптимизм. Он утверждает, что эмиграция — явление преходящее, "не живущее дальше одного поколения", но повидимому еще твердо надеется, что его поколение дождется коренных политических изменений в России. В случае, если бы этого не произошло, "второе поколение либо сольется с Европой, либо вернется в Россию" — предсказание, кстати сказать, не вполне оправдавшееся. Весь склад речи еще бодрый, в соответствии с настроениями, тогда в эмиграции еще господствовавшими.

Мне вспоминается другая речь Василия Алексеевича, произнесенная семью годами позже, когда в парижском театре Шан-з-Элизе русская эмиграция чествовала Бунина в связи с присуждением ему нобелевской премии. Это было пожалуй последнее большое, пышное, дружное и многолюдное эмигрантское собрание. Помню, как Милюков, указывая в антракте на Маклакова, который подсел к находившемуся в первом ряду митрополиту Евлогию, шутливо заметил:

— Все как бывало в старину у нас в провинции: на почетных местах — губернатор и архиерей!

Маклаков собрание открыл и был в этот вечер единственным оратором. Как человек с огромным общественным опытом, он чувствовал, конечно, что совсем без "огоньков впереди" обойтись в такой день невозможно и уступку сделал. Но в речи его была печаль, усталость, и скрыть этого он не мог, а может быть и не хотел. Если бы выразить словами то, что пробивалось у него между слов, получилось бы приблизительно следующее: "Господа, незачем

себя обманывать, это наше последнее торжество! Да, жизнь продолжается, Россия бессмертна, но лично нам с вами ждать больше нечего". Не одного меня поразил общий склад его речи, и я не стал бы о своем впечатлении упоминать, если бы не слышал того же от других. Как и в речи о Пушкине, Маклаков о Бунине и его творчестве говорил лишь вскользь: темой его и на этот раз была русская культура, единственное у нас оставшееся, но зато и самое драгоценное наше сокровище.

Как объяснить эту внезапную грусть и скептицизм, эту "дребезжащую струну"? Маклаков был еще сравнительно не стар, был полон сил, казался попрежнему неистощимо жизнерадостен и бодр. Можно, значит, допустить случайность, т. е. случайный перебой в настроении, которому он и поддался. Но правдоподобнее другое: мы все живем "изо дня в день", интересами и мелочами каждого определенного дня, и редко останавливаемся в этом привычном течении жизни, чтобы очнуться, задуматься, спросить себя, куда и зачем все вокруг нас движется. Исключений среди людей в этом смысле почти нет, и конечно, так жил и Маклаков. Но когда ему доводилось взглянуть на житейскую и даже деловую суету "с птичьего полета", он видел то, что в другие минуты бывало от него скрыто, и об этом тогда говорил, — что, впрочем, не могло помешать ему на следующее утро опять с головой уйти в увлечения, заботы, хлопоты, радости и волнения повседневного существования.

Будущий историк и биограф Василия Алексеевича расскажет вероятно много интересного и примечательного о его деятельности, беседах с друзьями, мыслях и настроениях во время войны, — в част-

ности после того, как немцы заняли Париж и "вождем" русской эмиграции оказался Жеребков. По свидетельству встречавшихся с ним тогда в Париже его приятелей он скорей с грустью, чем с негодованием смотрел на людей, уверовавших, что Германия борется только против большевиков, а России желает добра, процветания и свободы. Он не спрашивал себя, что это — "глупость или измена", он без колебаний утверждал — глупость. А глупости в разных ее видах он на своем веку достаточно насмотрелся, и как очень умный человек, перестал ей удивляться. Но лояльности в отношении Франпии, — прежней Франции, конечно, не той, которая "коллаборировала" с Гитлером, — он требовал категорически, и резко разрывал с людьми, которые были по его мнению в этом смысле не на высоте, — особенно, если это были люди известные, просвещенные, а не темные, сбитые с толку эмигранты. В те времена такие разрывы, — публичные, у всех на виду, доходившие до отказа подать руку, — бывали далеко не безопасны, но Маклакова это не останавливало.

В конце концов он был арестован и просидел пять месяцев в тюрьме. Никаких определенных обвинений предъявлено ему не было, иначе он из тюрьмы не вышел бы. Но немцы были осведомлены о его прошлом, знали, что он либерал, демократ, масон, и не без основания причисляли его к своим противникам. Если не ошибаюсь, это Геббельсу принадлежит изречение: "Когда при мне произносят слово культура, я схватываюсь за револьвер". По счастью до револьвера в данном случае не дошло: легко могло и дойти.

К послевоенным месяцам относится эпизод, воз-

будивший очень много толков, а у тех друзей Маклакова, которые находились вне Франции, вызвавший и тягостное недоумение: визит его во главе группы единомышленников к советскому послу Богомолову. До сих пор еще споры об этом свидании не вполне прекратились. Приходится порой читать, что это было нечто вроде эмигрантской Каноссы, или что в Париже возникло тогда ура-патриотическое настроение, коллективное помешательство, — "Гром победы раздавайся", — и так далее.

Давно пора бы сделать некоторые разъяснения и уточнения. Маклаков сам признал, что визит к Богомолову был ошибкой, и все, кто в советское посольство его сопровождал, — за одним или двумя исключениями, — признали это тоже. Но тем, кто в политическом легкомыслии Маклакова обвиняет, надо бы понять, почему ошибка произошла.

Война против Гитлера не была войной обычной, и по сравнению со всеми предыдущими войнами, даже войной 1914—1918 гг., имела характер совсем особый. Она и отношение вызвала к себе особое. Повидимому в Америке, откуда упреки и насмешки по поводу мнимого патриотического угара с "Громом победы", преимущественно и шли, это было менее ощутительно, чем во Франции. Здесь, во время немецкой оккупации мы сталкивались с гитлеровцами ежедневно, видели, что это такое, убеждались воочию, а не из вторых рук, **что** их возможное торжество несет и чем грозит. Исход войны был долго не ясен, а победа была воспринята, как избавление от беспримерного, небывалого еще в истории ужаса и варварства. Предвижу возражением: а чем, скажите, Сталин был лучше Гитлера? Дело не в личностях, и если бы вопрос касался личных свойств "фюрера"

и "отца народов", следовало бы ответить, что в самом деле один стоит другого. Согласен даже допустить, что большевизм в сталинском его обличьи ничуть не лучше национал-социализма. Но есть между ними скрытая, и все же чрезвычайно существенная, коренная, решающая разница: большевизм представляет собой искажение некоего социального идеала, который сам по себе никаких бесспорно-отрицательных, абсолютно-неприемлемых черт не имеет (напомню, кстати, что Маклаков подробно об этом говорит в "Толстом и большевизме"). Ужасает в большевизме его повседневная практика, возведение принципа "цель оправдывает средства" в основной государственный лозунг, оправдание насилия и террора, короче — ужасает ленинская теория о том, что никакой единой, неизменной морали нет, и что понятия добра и зла должны быть согласованы с очередными нуждами пролетариата и им всецело подчинены. Правда, многие мыслители и политические деятели, особенно в последнее время, категорически отвергают коммунизм в любом его виде, коммунизм даже очеловеченный, даже очищенный от кремлевских методов. Но это — предмет для отвлеченных, пожалуй даже академических споров, и тот факт, что существует целая литература по вопросу о связи первоначального коммунистического социального идеала с идеалом христианским (или о непроходимой пропасти между ними), доказывает, как по существу противоречив и сложен этот вопрос, сколько в нем "за" и "против", сколько материала для углубленных размышлений.

С нацизмом, наоборот, все просто, как дважды два: в нем ничего не было искажено, мы его видели в его истинных, пусть и незавершенных, формах, и

если бы Гитлер довел свой "идеал" до полного осуществления, то весь мир превратился бы в одну огромную казарму, все евреи оказались бы сожжены в печках, все славяне обращены в безгласное и мало по малу безграмотное рабство, все христианские церкви закрыты и обожествлен был бы некий "белокурый зверь", полный беспредельного презрения ко всему, что было создано, продумано и выстрадано человечеством до него. Ведь именно в этом разница, — и как этого было не почувствовать!

Не знаю точно, верил ли Маклаков в близкое перерождение коммунизма, вполне возможно, что были у него по этому поводу сильнейшие сомнения, — однако оплаченная миллионом русских жизней победа над Гитлером естественно вызвала у него реакцию, в которой увлечения оказалось больше, чем расчета и осторожной проверки. У всех во Франции было тогда чувство, что мир спасен, чувство, которое из "прекрасного далека" было принято за глупую радость по поводу того, что изверг — Сталин выиграл войну. Да и в самой России, по многочисленным свидетельствам, распространилась уверенность, что режим после победы должен будет пойти на уступки, что народ в своих надеждах, после всех принесенных им жертв, обманут быть не может, и что армия окажется сильнее партии. Да, все это было заблуждением. Визит к Богомолову был ошибкой. Но бывают ошибки, которых избежать трудно, если только не жить на подобие улитки в скорлупе, без риска и без порыва.

Свидание состоялось по приглашению Богомолова, впрочем не сразу принятого. Были долгие сомнения, переговоры, — идти или не идти? С чем идти, что сказать? О содержании беседы с совет-

ским послом сохранились, насколько мне известно, записи участников, и когда-нибудь они, надо надеяться, будут опубликованы. Говорил больше всех сам Богомолов, человек необычайно словоохотливый, но Маклакову и его друзьям удалось все же, в согласии с заранее принятым решением, высказать несколько истин о террористическом режиме, о причинах возникновения эмиграции и рассеять по этому поводу иллюзии, которые у посла могли возникнуть. Богомолов заявил, что рад видеть русских людей, у которых любовь к "больной матери" превозмогла политическую вражду. Маклаков будто бы ответил, что мать свою он действительно любит, но именно потому и предпочел бы видеть ее совсем здоровой.

Политического и социального "здоровья" он впрочем не находил вокруг себя нигде. Отличья, по его диагнозу, ограничиваются глубиной и степенью проникновения недуга в тот или иной государственный организм, но больны и западные демократии: тоталитарные режимы порождены именно ими и не случайно опасность теперь "поджидает их и справа, и слева".

Слова в кавычках взяты мною из "Еретических мыслей", помещенных в двух книжках нью-йоркского "Нового Журнала" (№№ 19 и 20 за 1948 г.). Статья эта представляет собой переработку доклада "Парадоксы демократии", сделанного Василием Алексеевичем несколькими годами раньше в закрытом собрании.

Статья интересна не только идейно, т. е. по своему содержанию, но и психологически. В самом деле, она должна была бы стать предметом очень широкого обсуждения и по складу своему именно к этому и предназначена. Маклаков заранее возражает тем,

кто склонен был бы приписать ему подражание политическим мыслителям восемнадцатого века, "сочинявшим конституции", но такое сопоставление напрашивается само собой: во всяком случае имя автора "Духа законов" вспоминается при чтении не раз. Но труд Монтескье имел огромный резонанс, огромное значение в развитии европейской гражданственности. Маклаков, разумеется, не рассчитывал и на десятую, даже на сотую долю такого действия, — однако с большой тщательностью выработал программу управления государством, которое по его убеждению оказалось бы наиболее справедливым. Откликов в русской печати было между тем крайне мало. До иностранцев соображения Маклакова не дошли, и Василий Алексеевич мог это предвидеть. С каким же расчетом он свою статью писал, или свой предыдущий трехчасовый доклад составлял, — не для того же только, чтобы в узком, тесном кружке людей, подобными вопросами интересующихся, но лишенных возможности в жизни современных государств что-либо изменить, возникла более или менее оживленная беседа, обычный "обмен мнений", ни к чему не обязывающий и никуда не ведущий? Не было ли у него предположения, что когда-нибудь его мысли будут использованы в России, могут, пусть и со всякими поправками и дополнениями, лечь в фундамент будущего русского государства, которое едва ли пожелает стать всего лишь запоздалым слепком с западных демократий в их теперешнем состоянии? По всей вероятности такие надежды не были ему совсем чужды. Слишком много в "Еретических мыслях" умственной настойчивости и убеждения, чтобы принять их за "взгляд и нечто", без расчета на практические выводы, хотя бы и отдаленные. Отношение

к ним Маклакова было повидимому схоже с тем, как отнесся он к думскому Наказу, составленному им в России: "когда-нибудь пригодится, не теперь, так через пятьдесят или сто лет!" Как знать, может быть в своих надеждах он и был прав.

Мысли свои Маклаков называл "еретическими" потому, что выразил сомнение в двух основных догматах демократического символа веры: в верховенстве народного представительства и в правах большинства.

Несомненно, именно возвеличение большинства представлялось ему самым тяжким грехом современных демократий, источником всех бед и несправедливостей. К этой теме он вернулся в конце своих последних "Воспоминаний", несколько по другому, но с не меньшей страстностью ее развив.

Слабая сторона демократического образа правления — вопрос в сущности технический, и Маклаков его разбирает именно как техник, как теоретик. Но в вопросе о большинстве он поднимается над соображениями практическими, и в обличительном пылу утверждает, например, что даже "одним человеком нельзя пожертвовать для спасения мира": как не вспомнить тут Ивана Карамазова! Решение по большинству голосов, этот "незыблемый демократический догмат" будто бы оправдывает все, что большинству угодно: но "ни пользы, ни добра, ни правоты" оно не обеспечивает.

В демократиях управление государством свелось на деле к борьбе за большинство. Необходимо восстановить истинное назначение народного представительства, которое отнюдь не в том, чтобы управлять. Каждый отдельный депутат представляет лишь своих избирателей, а утверждение будто все вместе

они представляют государство, — фикция и нелепость: будь это так, между депутатами не было бы вечных раздоров. При правильно понятом, законодательном назначении парламента, в нем должны бы оказаться представлены все социальные классы, все профессии. Разумеется, из-за различия интересов между депутатами возникнут разногласия: но это неизбежно, это естественно. Оттого-то и необходима Верхняя Палата, равноправная с Нижней, чтобы представлять меньшинство, которое иначе окажется бессильно интересы свои отстоять. В случае длительного конфликта между обеими палатами вопрос должен быть решен главой государства, и никакой апелляции решение его не подлежит. Глава государства, представитель исполнительной власти, избирается всем населением, и выборы эти — единственный пункт маклаковской программы, где допущено преобладание воли большинства. Государственная власть, как некое целое, принадлежит выборному президенту и двум палатам. Но глава государства не должен быть перед парламентом ответственен: в стремлении к этой ответственности — одна из роковых ошибок демократий. Представительство, если и "контролирует" исполнительную власть, то не непосредственно, т. е. не путем выражения недоверия и требования отставки, а исключительно — "подготовкой следующих выборов". Ответственен глава государства лишь перед всем населением, которое передает ему часть своей непререкаемой "суверенности", так же как другую часть передает Палатам. Над всем царит закон. Закон обязателен для каждого представителя власти, и именно в том, что государство управляется по установленным законам, отличье правового порядка от деспотии.

Проект Маклакова разработан очень обстоятельно и в кратком изложении приходится указать лишь на основные его линии. Несомненно, Василий Алексеевич чувствовал, что в проекте этом кое-что навеянно новейшими государственными идеологиями, в частности фашизмом, — правда, лучшего, довоенного периода, когда с этим термином еще не связывалось человеконенавистнических, а тем более расовых, представлений. Он подчеркнул, что предлагаемая им система "не совпадает с корпоративным устройством". Однако именно корпорациям по его теории и должна принадлежать в народном представительстве главная роль. Маклаков часто наталкивается на трудности при попытках в точности определить, по какому принципу должны производиться выборы или каковы должны быть права и обязательства главы государства. Основной его расчет — на то, что люди, и даже целые народы, поймут, наконец, преимущество соглашения перед непрерывной борьбой, и именно на соглашение он и делает ставку. Самое слово это, идеал соглашения, манящий, прекрасный призрак окончательного человеческого соглашения внушает ему мысли, которые, скажем, Милюкову, рационалисту и позитивисту, должны были бы показаться в сто раз более "еретическими", чем насмешки над четырехвосткой или отрицание ответственности исполнительной власти перед парламентом. "В человеке Бог борется с диаволом", говорит Маклаков (правда, не совсем уточняя, говорит ли он это от себя лично или только передавая чужие "религиозные и философские взгляды"), — и как случилось однажды на парижском литературном диспуте, после восклицания Бердяева о том, что "Бог любит Ницше", Милюков не пре-

минул бы с места возразить, что у него "к сожалению небесной информации не имеется". А вывод из утверждения о борьбе Бога с диаволом, представленный у Маклакова, убежденного государственника, формулой "государство есть создание диавола"*) вызвал бы со стороны Милюкова не только изумление, но и возмущение. Зато Маклакова одобрил бы Лев Толстой. Думая обо всем этом, еще раз говоришь себе: сложный был человек Василий Алексеевич, многое уживалось и совмещалось в его сознании, и даже надежда когда-нибудь упорядочить, очеловечить, облагородить "создание дьявола" не казалась ему несбыточной.

До последних своих дней он продолжал работу в эмигрантском "оффисе", который давно уже превратился в учреждение, входящее в состав французской администрации. Дружеские уговоры оставить эту работу на него не действовали. Маклаков был болен, физически стал заметно "сдавать", но считал, что пока он в силах русскую эмиграцию во Франции представлять, от этого своего дела он отказаться не вправе. Конечно, он знал, — хотя об этом и не говорил, — что французские власти внимательнее, доверчивее к нему относятся, больше с ним считаются, чем с любым из возможных его заместителей, и потому ежедневно ходил в "присутствие", принимал посетителей, выслушивал просьбы и жалобы, хлопотал, направлял, давал советы и указания. При том, по свидетельству сотрудников, неизменно бывал оживлен и весел, шутил, смеялся,

*) Он очевидно не совсем удачно выразился. Мысль его в том, что наличье «дьявольских» черт в человеческой натуре делает государство нобходимым, как единственное средство их обуздания.

что-нибудь рассказывал, держался в беседе с какой-нибудь юной машинисткой или со сторожем так же просто, с той же естественной непринужденностью, с какой когда-то разговаривал с министрами. Другой в его положении, вероятно, давал бы иногда понять, что после Таврического Дворца или хотя бы даже кабинета в посольстве на рю де Гренелль, ему как-то не по себе в тесной комнатке, за шатким и маленьким письменным столом, заваленным бумагами. К Маклакову входили без всякого доклада, он сам то и дело выходил в "общую" комнату для какой-нибудь справки. Но ничуть все это его не смущало и не тяготило, — и именно потому, что это его не тяготило, ни в малейшей степени не казалось ему неуместным, ореол большого человека в этой обстановке был вокруг него яснее, чем пожалуй когда-либо прежде.

Тяжелым ударом была для Маклакова кончина его сестры Марии Алексеевны, вернейшего долголетнего его друга, его "заботливой няньки", как выразилась А. В. Тыркова. Она отдала ему всю себя, и со смертью ее он не мог свыкнуться. В одной из русских газет была помещена прочувствованная статья ее памяти. Василий Алексеевич, — как рассказывал мне его племянник Ю. Н. Маклаков, — статью прочел, остался ею очень доволен, и с газетой в руках отправился в комнату покойницы: "Маруся, смотри, что о тебе пишут!", — громко сказал он на пороге, и только в этот момент отдал себе отчет, что "Маруси" на свете больше нет и что читал он некролог. Смерть Марии Алексеевны выбила его из колеи, впервые в жизни заставила его растеряться. Вероятно с этих дней он больше, чем прежде, начал думать и о своем конце.

Как вообще он к смерти относился, как ее себе представлял? Ждал ли чего-нибудь после нее?

"Я стою перед закрытыми дверьми и не знаю, что за ними", — сказал он одному из самых близких себе людей, М. М. Тер-Погосьяну. Что это, первые признаки пробуждения религиозного чувства, как утверждают некоторые? Материалист убежденный ведь не скажет "не знаю": он "знает", что за гробом нет и не может быть ничего. Но дальше сомнений Маклаков повидимому не пошел. Незадолго до смерти он писал А. Тырковой, что "заставить себя верить нельзя" и что источник веры в "потребности понять непонятное". Эта последняя фраза очень характерна, и едва ли кто-либо из людей действительно религиозных с определением Маклакова согласится: источник веры для них, конечно, не в интеллектуальной любознательности, даже не в метафизическом беспокойстве, а в чувстве безысходного одиночества человека, оставленного Богом, в страдании и отчасти в страхе. К. Леонтьев, человек с великим опытом по этой части, считал, впрочем, важнейшим источником веры именно страх, но он во всем был своеобразен, и остался непохожим на других даже и в этом. Для Василия Алексеевича, думается мне, при его глубокой природной "русскости", притягательна должна была быть обрядовая и бытовая сторона православия, — вроде как для Пушкина говор московских просвирен. Перед смертью влечения и природные пристрастия нередко обостряются, и в Маклакове мог обостриться москвич, чувствующий потребность умереть в вере отцов своих, в согласии с бытовым укладом, устоявшимся в течении веков.

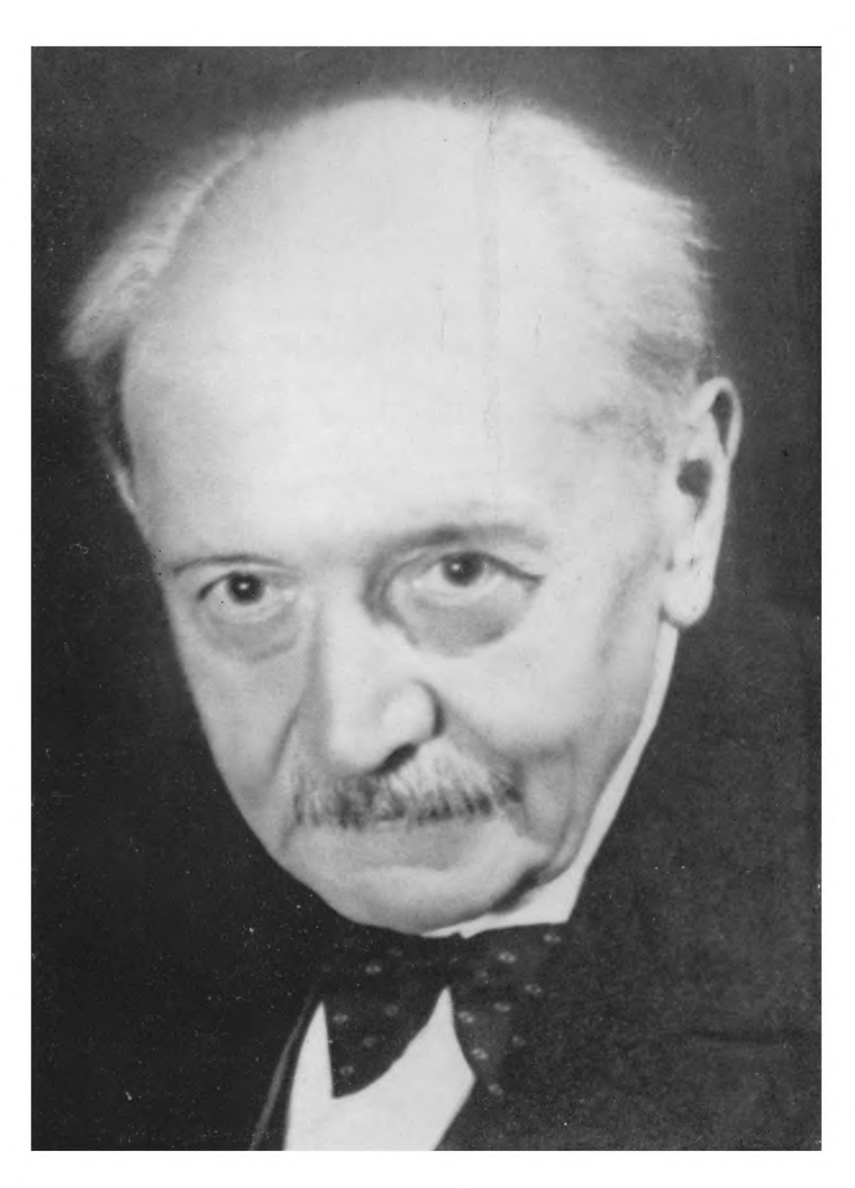
Несомненно, однако, что если не вера в христианские догматы и таинства, то преклонение перед

евангельской моралью одушевляло Василия Алексеевича в последние его дни. В этом смысле он кажется еще ближе подошел к Толстому, чем прежде. Правда, Маклаков не повторил бы вслед за Толстым, что "Христос учил людей не делать глупостей", т. е. не согласился бы признать Евангелие лучшим практическим руководством к установлению разумного, справедливого и счастливого существования, но даже чувствуя все, что есть в учении Христа недостижимого и в наши времена, "для сынов ничтожных мира" непосильного, он принял в сердце несравненное духовное благородство этого учения и свет, который оно излучает.

Уезжая в Швейцарию для лечения ваннами в Бадене, около Цюриха, Василий Алексеевич взял с собой Евангелие, о котором — по единодушному свидетельству родных и друзей — редко вспоминал в прежние годы. Повидимому пребывание в Швейцарии было для него мучительно из-за одиночества и растерянности, внезапно его охватившей.

В Бадене Василий Алексеевич и скончался — 15 июля 1957 года.

При кончине присутствовал его племянник Юрий Николаевич Маклаков, срочно вызванный к умиравшему. Уже коснеющим языком, держа в руке Евангелие и указывая на него глазами, Василий Алексеевич с трудом проговорил "Вот!" — будто хотел в самые последние свои минуты сказать, что в книге этой есть все, нужное людям.



В. А. МАКЛАКОВ.

Заключение

Окончив книгу, или даже только дописывая последние ее страницы, автор большей частью спрашивает себя: какой упрек будет ему сделан, в чем недостаток его работы? Произведения художественные к разряду "работ" не принадлежат, и с ними связаны сомнения совсем иного рода. Имею я сейчас в виду лишь те писания, самая ткань которых исключает или по крайней мере сдерживает игру воображения.

Книга о жизни и деятельности Василия Алексеевича Маклакова, которую я, по принятому выражению, "предлагаю вниманию читателей", вызовет вероятно упрек в недостатке полноты. Упрек это справедливый, но предвидя его, я хотел бы сказать несколько слов в объяснение того, почему не все периоды жизни Маклакова оказались освещены одинаково. Отчасти приходится сослаться на скудость источников. О своем детстве и юности, например, Маклаков расказал довольно обстоятельно, а о том, как жил позднее, чем увлекался, с кем встречался и дружил, как проводил свободное от дел время, обо всем этом он не счел нужным сообщить почти ничего. Сдержанность его понятна, пожалуй даже естественна, — хотя иные люди, много менее заметные и замечательные, бывают обычно словоохотливее в осведомлении о своей частной жизни, рассказывают о себе "с аппетитом", как иронизировал в таких случаях Тургенев, — но сдержанность эта по-

рой ставит биографа в положение нелегкое. О Первой и Второй Думах Маклаков написал отдельные книги, воспоминаниями о Третьей и последней, Четвертой, поделился лишь отрывочно: затруднение есть и в этом.

Однако причина не совсем равномерного отношения к фактам, лежащим в основании книги, не только в сравнительной бедности или богатстве данных. Мне представлялись особенно важными те выступления Маклакова, те эпизоды его деятельности, где личность его проявлялась особенно отчетливо. Правда, иногда приходилось только догадываться о мотивах, побудивших его то-то сказать, то-то сделать. Иногда случалось и обходить, пропускать то, что со временем может оказаться значительным. Маклаков вел в последние десятилетия своей жизни обширную переписку, и когда-нибудь письма его послужат незаменимым пособием для составителя его биографии, может быть даже ключом к его настроениям и мыслям на склоне лет. Эти письма остались мне в огромном их большинстве неизвестны, да если бы я и знал их, едва ли настали сроки для их опубликования. Многие друзья Василия Алексеевича помнят отдельные его замечания, рассказывают о беседах, которые с ними вели на темы самые разнообразные (впрочем все сходятся в том, что одна тема владела сознанием Маклакова особенно навязчиво, была чем-то вроде его idée fixe: как, почему, по чьей вине случилось в России то, что случилось?). Кое что из этих рассказов я использовал, но немногое. Если будет когда-нибудь составлен сборник по образцу тех, которые посвящаются в советской России выдающимся людям прошлого века, — "В. А. Маклаков в воспоминаниях современников", — такая

книга окажется чрезвычайно интересной и ценной. Позволю себе только выразить надежду, что она не будет в слишком резком противоречии с тем образом Василия Алексеевича, который удалось представить мне.

В воспоминаниях о Маклакове будет несомненно рассказано о том, сколько было в нем личной привлекательности и даже обаяния, как был он неистощимо жизнерадостен, как любил жизнь, ничуть не закрывая себе при этом глаз на темные ее стороны. Коллективный этот портрет должен бы показать человека, который был благодарен Создателю, — или по убеждению других, лишь слепому фантастически-удачному случаю, — за самый факт существования, за единственное и неповторимое счастье существования, еще до рассмотрения того, чем оно наполнено. Отдельные мелочи, отдельные замечания, обрывки разговоров, психологически характерные черточки, — все в этот "портрет" войдет и придаст ему окончательную убедительность, при том, кажется мне, в несколько фламандском жанре, т. е. с чем-то рубенсовским в колорите, пусть и перенесенном в Москву, на былое привольное -московское -житье-бытье, со многими жизненными успехами и не менее обильными жизненными утехами. Иначе портрет едва ли будет вполне схож с оригиналом.

Лично я знал Василия Алексеевича лишь в последние годы его жизни, и знал, — напомню еще раз, — довольно поверхностно. Он в то время был уже как будто надломлен, и не только возрастом, а вероятно и тем, к чему свелась его жизнь, тем, как сузилась она и в возможностях, и в надеждах. Все эти люди, когда-то в России гремевшие на всю страну, решавшие судьбу народа, ведшие огромную по

размаху и общественному резонансу игру, а теперь, оставшись "не у дел", или даже если и у дел, то дел ограниченных, искусственно-созданных, без действенного влияния, без отклика, — Милюков, Маклаков, Керенский, кн. Львов, другие, — все они напоминали бодлеровского альбатроса, который привыкнув к полетам под облаками, на палубе корабля беспомощно волочил крылья. Конечно, давали себя знать индивидуальные различья. Маклаков, сохранивший до конца жизни некий "пост", несмотря на это острее чувствовал общее крушение, болезненнее и тревожнее на него отзывался, чем, например Милюков, неизменно уравновешенный и в себе уверенный. Впрочем, как знать, не было ли это у Милюкова позой, расчетом, манерой держаться, как знать, что таилось за маской "лидера" после исчезнувшего в этом "лидерстве" реального содержания? Чужая душа поистине — потемки, и слишком много было в прошлом всем памятных промахов и близорукости в характеристиках больших людей, чтобы без колебаний за них браться.

Смерть Маклакова сильнее взволновала всех знавших его, и даже больше вызвала какой-то безотчетной растерянности, чем на первый взгляд было бы естественно. Василий Алексеевич был очень стар, смерть его ни в коем случае не могла быть причислена к неожиданностям. Но повидимому он был нужен людям, и его присутствие ощущалось как гарантия некой преемственности, как залог того, что прежняя Россия, — лучшее, что было в прежней России, — продолжается. С его смертью что-то оборвалось, и в некрологах, ему посвященных, чувство это сквозило, — особенно ясно, помнится, в статье Александры М. Петрункевич. А ведь если бы

ей, или кому-либо другому предложили коротко определить, в чем тут дело, ответом были бы вероятно более или менее общие слова. Объяснить вкратце действительно было бы трудно. Нужно бы было ведь напомнить и о том, что представляет собой наш теперешний мир, "страшный мир" по предчувствию А. Блока, и о положении человека в этом мире, и о всех наших утратах, и о постепенной убыли "огоньков впереди", — если вместо Блока сослаться на Короленко, — и о том, как настойчиво старался Маклаков эти трепещущие "огоньки" удержать, с какой настойчивостью была к ним обращена его всегда живая мысль, — да нужно было бы сказать обо всем, что доверчивое влечение к Маклакову и чувства, возбужденные его смертью, сделало бы понятными.

Слово "человечность" часто треплется попусту, слово это выдохлось, его неловко сделалось употреблять. Но как ни ищи, едва ли найдется другое, которое лучше подошло бы к духовному облику Маклакова. Он на все человеческое откликался и, кажется, все понимал, не только умом, а "всей жизнью", как сказано где-то у Толстого, т. е. опытом, чутьем, понимал благодаря долгому созерцанию жизни и щедрому, разностороннему, какому-то ненасытному в ней участию. То, что на последней странице последней своей книги назвал он "уроком своей жизни" было именно на опыте основано, жизненными впечатлениями внушено и менее всего походило на отвлеченно-теоретические выкладки: нет, Маклаков всей силой своей совести, своего разума и сердца стремился ответить на толстовский вопрос "что же нам делать?", как людям жить, не слишком друг друга мучая. Если имя Толстого, когда говоришь о Маклакове, часто приходится упоминать, то не для срав-

нений, конечно, и не в угоду какой-нибудь заранее составленной схеме. Оно возникает в памяти само собой, — потому, что Толстой в духовной биографии Маклакова занимает слишком большое место. Недаром Василий Алексеевич беспредельно чтил Толстого и очень многому у него научился, хотя далеко и не во всем с ним согласился. Маклаков отверг толстовский анархизм, да и не мог не отвергнуть, поскольку у него не было веры, что Бог вмешается в людские дела и очистит, облагородит, преобразит человеческие сердца, если люди согласятся исполнять божественный закон, — но глубокую значительность толстовской проповеди он понял и усвоил, как мало кто другой, во всяком случае как никто другой из современных ему общественных деятелей. Понял он, и повидимому принял, как существеннейшее обоснование этой проповеди, то, что Толстой еще до нее, в своих художественных творениях углублялся, погружался в самые недра бытия и оттуда, вынес свое "мировоззрение", в соответствии с тем, что узнал и нашел. Толстой имел право говорить за всех людей потому, что как бы побывал в душе и плоти каждого из них, изведал "в пределах земных все земное"... Маклаков художником не был, да и вообще, подчеркну это еще раз "во избежание недоразумений", — а любители недоразумений находятся всегда! — я никак, ни в какой мере не сопоставляю его с Толстым. Хочу я лишь указать на свойства, которые от Толстого он перенял или к которым, может быть безотчетно, по складу своей натуры, оказался особенно восприимчив. В мыслях и словах Маклакова то же чувствуется неизменное их жизненное обоснование, долголетняя их проверка в общении с людьми, стремление не то, чтобы подо-

гнать их к данной мерке, а согласовать их с реальностью*). Именно эту человечность вносил он в свою деятельность, и вероятно она-то и помешала ему стать в какой-либо отрасли этой деятельности узким специалистом, подлинным "профессионалом". В самом начале книги я мельком упомянул о легком налете диллетантизма в облике Маклакова, сославшись при этом на одного из виднейших русских юристов, который Василия Алексеевича высоко ценил, — и еще в рукописи, при чтении, термин этот задел некоторых друзей покойного и показался им неуместным. Но ведь слова живут лишь в связи одного с другим, и только в этой связи обретают истинный, не во всех случаях однородный, смысл. Если Маклакова и позволительно назвать диллетантом, то потому, что только юристом, хотя бы и блестящим, или только политиком, хотя бы и чрезвычайно влиятельным, он быть не хотел и не мог. Он привносил в эти свои интересы и занятия нечто принадлежащее к иным категориям, и как будто спрашивал себя: для чего существует государство? Во имя каких непреложных, окончательныю целей? Что делаем в нем мы, его слуги? — т. е. касался вопросов, которые огромному большинству государственных или общественных деятелей обычно кажутся праздными. Проходящая через всю его жизнь непоколебимая — даже Толстым непоколебленная — преданность понятию права держалась несомненно на том, что право было для него верховным принципом сколько-нибудь при-

---

*) Во время немецкой оккупации Маклаков провел несколько месяцев в тюрьме. Выйдя из нее, он сказал: «Мне жаль, что я никогда не сидел в тюрьме прежде. Если бы я знал, что такое одиночное заключение, я бы иначе строил свои защитительные речи». Передаю по рассказу В. В. Вырубова.

емлемого политического мировоззрения. Он мог увлекаться, мог в тончайшем анализе каких-либо статей закона, как будто забыв обо всем другом, полностью обратить внимание на отвлеченные умозаключения. Но за ними, как стимул их, было всегда одно: представление о беззащитности человека в обществе, которое правом пренебрегало бы.

По Владимиру Соловьеву право есть "низший предел или некоторый минимум нравственности, для всех обязательный"*). Юристы Соловьеву возражали, и несомненно Маклаков согласился бы, что формула эта требует оговорок и дополнения. Но спорить против того, что нравственность — по крайней мере нравственность общественная — находит в праве свое выражение, пусть и "минимальное", он едва ли стал бы. Конечно, нужна предпосылка: необходимо доверие к творцам права, к нравственным побуждениям и чувству справедливости, ими руководящему. У волков в их волчьем царстве ведь тоже могло бы возникнуть некое "право", и не случайно Маклаков несколько раз в своих последних размышлениях упоминает о "готтентотской" морали, которая тоже могла бы оказаться основой соответствующих узаконений. Это, пожалуй, представлялось невозможным в девятнадцатом веке, одушевленном верой в прогресс, но это на наших глазах стало реальностью для миллионов людей в веке двадцатом. Однако, если остаться в области традиционной, право есть именно преодоление волчье-готтентотских инстинктов, и произнося это священное для него слово, Маклаков только

*) Заимствую это определение из книги А. А. Гольденвейзера «В защиту права», где об отношении Пушкина, Толстого и Достоевского к понятиям права и закона сказано много очень верного и притом впервые подмеченного.

такое значение ему и придавал. Для людей религиозных есть иные священные слова, порядка более высокого, потребность в праве исключающие: любовь, братство. Братьям законы не нужны, братья добровольно справедливы и даже идут дальше, т. е. одной справедливостью не удовлетворяются. Но Маклаков — по крайней мере до самых последних своих дней, — такие слова, как "любовь" употреблять не решался и с укоризной косился на тех, кто с ними обходится слишком легкомысленно. Он был очень правдив, крайне чувствителен ко всякой лжи и фальши. Он знал, конечно, цену болтовне и декламации на тему о братской любви, знал как редко слова эти бывают претворены в дело. Основать на любви человеческое общество? Ему представлялось это самой возвышенной, но и самой ирреальной мечтой, — ирреальной прежде всего потому, что любовью удалось бы объединить людей только при общей их вере в Бога, а Маклаков и в себе, и вокруг себя видел в лучшем случае только сомнение. Маклаков был человеком "вольтеровой веры", по любимому выражению покойного Бунакова-Фондаминского, т. е. одухотворен был обрывками, крохами, остатками христианства, притом остатками морального, а никак не догматического его содержания. Кстати, с некоторым удивлением позволю себе отметить слова Ариадны В. Тырковой в статье "Русский парламентарий", помещенной в "Новом Журнале" после смерти Маклакова:

"Меня смущало, тревожило, — пишет Тыркова, — что умный Василий Алексеевич не изжил интеллигентской слепоты, бродит в пустыне безверия".

Возражение напрашивается само собой. Были и

всегда будут умные, умнейшие, гениальные люди, бродящие "в пустыне безверия", находящие в себе силы для отказа от того, что представляется им убаюкивающими иллюзиями. Отсутствие веры не есть всего только "слепота", да еще будто бы "интеллигентская". Не следует такие сложнейшие и в сущности "проклятые" вопросы упрощать, нельзя представлять их, как давно решенные: поступать так, значит делать то же самое, что в противоположном смысле делается в советской России. Религиозно-настроенные друзья Василия Алексеевича могли быть огорчены складом его мыслей, но "смущаться", как чем-то при ясности его рассудка недопустимым, причин тут не было.

Основным побуждением Маклакова в течении полувека, основным двигателем всей его деятельности была, повторяю, мысль о необходимости отстоять, защитить человека от угнетения и произвола. Он сам признал, что в жизни его была "последовательность" и что если еще в юности он решил стать адвокатом, то не случайно, а подчиняясь велению внутреннего голоса ("Из воспоминаний"). При царском строе самые яркие его речи, судебные или политические, все без исключения были именно этой мыслью внушены. Но беззакония, которые в ту эпоху его возмущали, превратились при сравнении с временами новейшими в нечто идиллическое. Не только по размерам, не только по размаху. В те уже далекие дни, когда Маклаков взывал к государственной совести Столыпина или когда в речи по долбенковскому делу говорил о бесправии крестьян, власть допускала злоупотребления несомненные, "вопиющие". Но в отличие от того, чему стали мы свидетелями позднее, власть до известной степени сама

своих действий стыдилась. Власть прибегла к уловкам, скрывала истину, представляла положение вещей иначе, чем было оно в действительности, только бы себя оправдать. Государственную мораль, если она и насиловала на практике, то в теории и в принципе признавала ее существование, даже ее незыблемость. В новейшие времена, с распространением новейших "идеологий" все изменилось. Большевиков или Гитлера можно обвинять в чем угодно, только не в лицемерии. Они открыто объявили вздором то, что еще недавно признавалось нравственной основой культуры и общежития, они принялись строить государство на иных началах. Это общеизвестно, и не к чему об этом обстоятельно говорить. Скачек от морали, в которой еще можно было уловить слабые отблески и отсветы евангельской проповеди, — пусть и в "вольтеровом" ее преломлении, — к принципам готентотским было настолько стремителен, что многие даже не успели отдать себе отчет в сущности происшедшего, и, сбитые с толку, стали искать его скрытого и высшего смысла. Однако иллюзии держались недолго. Уже в тридцатых годах, например, Максим Горький обнародовал статью, одно название которой должно было рассеять сомнения насчет сохранения духовных связей с прошлым, хотя бы только в литературе, — "Если враг не сдается, его уничтожают". Пушкин, надеясь на бессмертие, ссылался в качестве довода на то, что он "милость к падшим призывал". Толстой на последних страницах "Воскресения", как в завещание людям, говорил о прощении врагов "не до семи раз, а до семижды семидесяти", т. е. до бесконечности. Горький был человек слабый и едва ли он с легким сердцем провозгласил на смену Пушкину и Толстому закон об уничтожении врага. Но сущ-

ность того, что новое государство от своих слуг требовало, он уловил и выразил верно.

Маклакова все это ужасало. Однако отталкивание его от бесчеловечности и беспощадности тоталитарных идеологий было сложнее, менее прямолинейно, чем у большинства современников. Он не ограничивался обыкновенными обличениями, — даже в сущности мало обличал, во всяком случае не становился в позу глашатая общественной правды, не бил в набат, не сочинял громоподобных газетных статей в подражение "Не могу молчать". Природная скромность его, скептицизм по отношению ко всякой холостой стрельбе этого ему не позволяли. В самих словах своих он всегда оставался человеком дела, человеком, которому несносно было всякое "шумим, братец, шумим!". Он без колебаний называл зло злом, но границу между злом и благом проводил не совсем там, где обычно видят ее другие наши политические деятели. У него живее и глубже, чем у них было чувство общей вины. Он считал, что виноваты в происходящем не только те, кто его творит, но и те, кто это происходящее допустил, а главное — он был убежден, что зараза проникла и на Запад. Как внимательный врач он обнаруживал тревожные симптомы там, где другие их не замечали. И тоже как врач, он задумался: в чем должно состоять лечение, есть ли надежды на благополучный исход?

Не знаю, как самому себе, наедине с собой, склонен был ответить Василий Алексеевич на вторую часть вопроса. Некоторая доля оптимизма, обязательная, как ношение формы, для всякого общественного деятеля, могла скрывать тревогу, даже отчаяние, а Маклаков был достаточно бесстрашен, чтобы не отступать перед выводами, каковы бы они ни

были. Но программу борьбы с болезнью он все же составил, — может быть и с расчетом, что ухудшить она во всяком случае ничего не может, а улучшить может.

В заключительной главе своих последних, уже почти предсмертных воспоминаний, Василий Алексеевич поделился теми мыслями, которые определил, как "главный урок" своей жизни. В мыслях этих есть две особенности: первая — это их сдержанность или, если угодно, осторожность; вторая — некоторая их утопичность. Если вернуться к сравнению с врачем, следовало бы сказать, что Маклаков прописывает средство, не давая адреса аптеки, где можно его достать. Подозрение мое насчет его исторического пессимизма отчасти этой чертой намеченной им программы и внушено. Но сначала о сдержанности.

Маклакову был глубоко чужд и даже враждебен всякий радикализм. Он не обольщался внешними, нередко величественными формами, которые принимает история, особенно когда потомкам делаются доступны лишь общие их очертания. Он чувствовал, какой ценой великие события бывают куплены, и считал, что в огромном большинстве случаев цена эта черезчур высока. Не то, чтобы он часто возвращался к мучительному карамазовскому недоумению насчет того, стоит ли вся финальная мировая гармония страданий одного невинного существа, не слишком ли бесцеремонна судьба, унаваживающая для этой гармонии почву так, как ей захочется. Нет, позиция его была проще и конкретнее: он ощущал, как единственную подлинную реальность, — отдельное человеческое существование, и отказался в политике этой реальностью рисковать, а еще менее — приносить ее чему-либо в жертву. В этой плоскости показательно

было его отношение к возможности новой войны, результатом которой было бы освобождение России, или к призраку новой, уже анти-коммунистической революции, к белому Ахеронту (предсказанному, как реакция на социализм, провидцем — Герценом). Как могут подтвердить все знавшие Василия Алексеевича, он эти предположения в конце жизни категорически отвергал, он страшился того моря крови, которым переворот оказался бы куплен. Даже тут он оставался эволюционистом, "постепенновцем", больше надеявшимся на внутренние процессы оздоровления и отрезвления, чем на изменения внезапные. Он довольно близко сходился в этих надеждах со своим старым другом, и во много единомышленником, Кусковой, а если от нее и отличался, то скорей психологически, чем идейно. Маклаков был "постепеновцем" по расчету, прикидывавшим в уме сумму страданий, горя и несчастий при всех возможных разрешениях "русского вопроса" и выбиравшим то, при котором итог представлялся ему приемлемее. Как и Кусковой, ему была, конечно, совершенно чужда идеализация советского строя и с гневной иронией он говорил о "просвещенных людях, квалифицированных ученых, иногда бывших народолюбцах", способных этот строй оправдывать. Но трагическую необходимость выбирать из двух зол он чувствовал с крайней остротой и содрогался при одной мысли о новой всероссийской поножовщине. "В революциях, — писал он, — не руководятся ни справедливостью, ни законностью, хотя они и делаются во имя этих начал. В революциях начинают действовать другие мотивы и страсти, вытекающие из зависти, злобы и мести за испытанное раньше зло". Едва ли будет ошибкой предположить, что кое-что из тол-

стовских поучений удержалось в сознании Маклакова и тут, в политических его взглядах, не лишенных оттенка фатализма: непротивления злу в чистом виде он, разумеется, не проповедывал, но отказывался бороться со злом его же оружием, ничего хорошего от такой борьбы не ожидая. В тех последних своих писаниях, о которых я уже упомянул, — "главный урок жизни", — Маклаков очень осмотрителен, и вероятно людей нетерпеливых, порывистых, стремящихся к метаморфозам решительным, коренным, мысли его не удовлетворят. В самом деле, все в них "постольку-поскольку", все замкнуто в довольно узких пределах, без надежд или хотя бы намека на так называемые "lendemains qui chantent". Нечем вдохновиться, нечем увлечься. Что это, усталость, природная "умеренность и аккуратность"? Ни в коем случае. Маклакову свойства эти были чужды, и ни при каких условиях он не повторил бы от своего имени слов, вырвавшихся когда-то у В. В. Розанова, этого полугениального болтуна, с червоточинкой в уме и в сердце: "Я не хочу истины, я хочу покоя". Маклаков стремился именно к истине, по крайней мере в социально-политическом плане, и оттого-то и не хотел обманываться или обманывать других. Для безрасчетного вдохновения, для красивых слов с плохо проверенным содержанием, — как бы напоминал он, — существуют другие, более подходящие области. Им не место в истории, еще меньше в том, что является историческим "сегодня", т. е. в политике, где материалом и объектом служит человек. Пора бы оставить слишком смелые "планетарные" опыты над этим материалом, опыты, которые под предлогом превращения нашего мира в рай делают его скорей похожим на ад.

Маклаков останавливается на кризисе современного государства и подчеркивает, что "события в России обнаружили мировую опасность".

"Никогда власть человека над природой не была так безгранична. Если тайны казались раскрыты. Человек мог заставить служить себе ее сокровенные силы, мог изменять теченья рек и превращать пустыни в сады, и однако человечество от этого не стало счастливее. Ибо причина всех бед была в нем самом. В необходимости для человека жить не в одиночку, а обществом, работать согласованными и соединенными силами, и в то же время в трудности для него не ставить на первое место свое личное благо и свой интерес. Отсюда при различии занятий и положений отдельных людей получалась их зависть друг к другу, борьба между ними и в результате борьбы, победа сильнейших, доходящая до полного порабощения слабых. В этом был источник страданий, недовольства и взаимного озлобления, которые только усиливались по мере того, как развитие техники и разделение труда увеличивалось".

Необходимость существования государства по Маклакову абсолютна. Государство нельзя уничтожить без того, чтобы страдания человека не стали еще нестерпимее. Однако повсюду в современном мире идет борьба человека с государством, и это стало "главной проблемой нашей эпохи". Надо, значит, найти равновесие между двумя борющимися силами.

Природа человека двойственна: в человеке есть зверь, временами в нем пробуждающийся и есть начало высшее*). Достаточно вспомнить, что бывает

*) Напомню мимоходом, что вопрос о двойственной природе человека, — вопрос в конечном счете метафизический, —

при пожаре в театре, чтобы наличье звериного облика в человеке стало очевидным. Но с другой стороны "если между людьми могло распространиться учение, что своих врагов должно любить, отдавать неимущим все, что имеешь, то самая возможность сочувственного отклика на это учение показала, что в человеке есть и другая природа... И эта другая природа так же реальна, как звериная".

Государство возникло и держится именно на этой человеческой двойственности. Будь человек только зверем, оно было бы невозможно. Будь человек только ангелом, оно было бы не нужно.

Борьба человека с государством должна бы кончиться миром. Но роковая ошибка современных государственных деятелей, в частности демократических, в том, что они искажают понятие справедливости. "Справедливость есть синтез между отречением от себя для других и звериной природой, стремящейся все от других отбирать для себя". Воля большинства, господствующая в демократических странах и принимаемая за выражение справедливости, в действительности ничего общего с ней не имеет: это лишь замаскированная форма насилия.

Критике понятия большинства и воли большинства, как верховного государственного принципа, Маклаков посвятил свои "Еретические мысли". В последней главе "Воспоминаний" он повторяет главнейшие свои доводы, а порой и заостряет их, чуть

волновал и мучил Бергсона в последние годы его жизни. Присутствие высшего начала в человеческой душе было основанием и заключением его философии. Но огромная биологическая и общенаучная эрудиция Бергсона побуждала его склоняться к признанию неизменности природных свойств в организме: если в человеке когда либо, сотни тысяч лет назад, жил зверь, то зверь этот живет в нем до сих пор. Ужас, внушенный Бергсону гитлеровской Германией, на этом его убеждении и был основан.

ли не перефразируя ибсеновского доктора Штокмана, утверждавшего, как известно, что "большинство никогда не бывает право". По Маклакову

"справедливость не непременно там, где желает ее видеть большинство".

Если государство будет когда-нибудь истинно-человечным, этого своего облика оно достигнет лишь идя "по дороге искания общего соглашения".

"Если наша планета не погибнет раньше от космических причин, то мирное общежитие людей на ней может быть построено только на началах равного для всех, то есть справедливого права. Не на обманчивой победе сильнейшего, не на самоотречении или принесении себя в жертву другим, а на справедливости. Будущее сокрыто от нас. Никто не может поручиться, что в мире будет господствовать справедливость. Но для человеческой природы мир на земле возможен только на этих началах. В постепенном приближении к ним состоит назначение государства, может быть и всемирного государства".

Разумеется Маклаков обращается со своими увещеваниями только к демократиям. Непоколебимая самоуверенность, самодовольство и глухота мира коммунистического ему очевидны, — хотя он и признает, что "для обиженных и обездоленных" Россия все-таки "еще не потеряла своего обаяния", ибо в России "социальный вопрос пока еще как будто оставлен на первом месте". Слов "как будто" Маклаков не подчеркнул, но несомненно именно на этих словах он делает ударение: если бы "обиженные и обездоленные", утверждает он дальше, действительно знали, какие установлены в России порядки, обаяние ее окончательно рассеялось бы.

Демократии еще излечимы. Беда и опасность

лишь в том, что болезни своей они не видят, а, наоборот, считают свое состояние нормальным, здоровым. Между тем насилие царит и в демократических странах, пусть их идеология еще не дошла до того, чтобы называть "служение справедливости слюнявой гуманностью". В демократиях узаконено насилие большинства над меньшинством: насилие исчезнет лишь тогда, когда большинство будет править, судить, издавать постановление, провозглашать руководящие принципы по добровольному соглашению с меньшинством.

Именно здесь, по крайнему моему разумению, самый уязвимый, "утопический" пункт маклаковского государственного учения. В оправдание понятия "большинства", для демократий непреложного, сказать можно многое, — и если бы идеи Маклакова были вынесены на обсуждение действительно широкое, мировое, то вероятно мыслители и деятели, в этих вопросам особенно компетентные, нашли бы в защиту принципа "арифметического", — как иронизирует Маклаков, — доводы убедительные. Не буду сейчас этого касаться. Удивляет меня другое: как предполагал Маклаков соглашения достичь? На чем основывал свою надежду, что сильные добровольно (а иначе нет настоящего соглашения!) пойдут на уступки слабым? Неужели действительно считал, что на этой шаткой, ежеминутно грозящей поколебаться почве можно возвести крепкое, прочное государство? Ведь безупречно справедливое, добровольно-жертвенное общежитие мало чем будет отличаться от братства, от торжества человеколюбия, — куда же исчезнет зверь? Маклаков дважды указывает, что "к забвению своих интересов", т. е. к преодолению эгоизма, все равно, личного или классового, госу-

дарство не имеет права (даже больше: "ни права, ни возможности") людей принудить. Значит верит он в установление справедливости по расчету, а не по нравственному внушению, верит в справедливость по убеждению, что иначе мира на земле не будет никогда, верит, что большинство, имея возможность с мнением и желанием меньшинства не считаться, сознательно от этой возможности откажется?

Правда, Маклаков делает оговорку: если цель и не будет полностью достигнута, то "всякое приближение к ней есть уже частичный успех". Будто охваченный внезапным сомнением он тут же добавляет: "Только такого приближения и должно искать. Жизнь к нему может повести ощупью, путем ошибок и их исправления". Но в основной, в главной своей мысли он непоколебим: только справедливость обеспечит человеку свободу, только всеобщим соглашением можно справедливости достичь.

Демократом Маклаков был всю жизнь. В России, когда в Государственной Думе он критиковал произвольные действия правительства, ему вероятно и в голову не пришло бы подвергнуть такой же критике те начала, на которых основаны западные демократии. Даже по тактическим соображениям он от такой критики воздержался бы. В демократиях, худо ли, хорошо ли, торжествует право, и русскому правительству, склонявшемуся к тому, что право есть понятие растяжимое и условное, можно было ставить их в пример.

Но в наши дни — в силу стремительного хода событий, наполнившего один-два-три года содержанием целого столетия, — в наши дни демократии утратили былое свое вдохновение, они отступают, защищаются, а не нападают, они стараются удержать

свои позиции, уж не думая о том, чтобы идти вперед. Удивительная чуткость Маклакова сказалась в том, что он это сразу уловил, и уловил не как созерцатель или кабинетный ученый, а как деятель, ищущий практических выводов и решений. Он очевидно слишком глубоко впитал в себя сущность европейской культуры, особенно ее социально-политических стремлений, чтобы не ощутить кризиса. Маклаков не всегда бывал положительно настроен в отношении русской интеллигенции, не всегда бывал мягок в ее характеристике, но тут он оказался именно русским интеллигентом, при том высшего типа, тем, для которого Европа и Россия одинаково близки и дороги, и который при всей неискоренимой своей "русскости" признает Европу "страной святых чудес". Он понял, что этим "чудесам" приходит конец, встрепенулся и стал взвешивать, искать, измерять, что необходимо сохранить, чем можно бы и пожертвовать. При его убеждении в двойственности человеческой природы разгул внезапно прорвавшейся природы звериной заставлял его главным образом размышлять о том, как зверя вогнать обратно. Несомненно, все последние, еще раз скажу — предсмертные, думы Маклакова внушены сознанием быстрого одичания мира, непредвиденным крушением представления о поступательном движении прогресса, необходимостью вновь очеловечить мир, обманувший былые надежды, свернувший с пути, намеченного двумя предыдущими веками. Крайности он отвергал всегда, и даже боготворимый им максималист — Толстой, не мог заставить его поколебаться в сторону отрицания государства и государственного принуждения. На этом он стоял твердо: вне государства человек жить не может и не должен. Но

культ государства “как такового”, как чего-то самодовлеющего, был ему глубоко чужд, и усилия своей мысли он обращал к тому, чтобы зазнавшееся чудовище это развенчать, указать ему его истинное, довольно скромное, назначение и место. “Государство — необходимость, но государство — не цель”, утверждал Ренан, и Маклаков мог бы эти слова повторить, и пожалуй даже признал бы их естественным выводом из евангельского изречения о “кесареви кесарю”.

Твердость его в защите личности от притязаний государства и вообще от всякого гнета тем более замечательна, что по природе был он человеком склонным к колебаниям. Как случается с иными, очень проницательными людьми, он слишком многое видел, понимал и угадывал, чтобы не колебаться. Ум его был слишком открыт, чтобы не учитывать возможностей, а иногда и опасностей, о которых другие не подозревали. Он мог сам себе противоречить, — потому, что знал, как бывает истина прихотливо раздвоена, и в этом тоже было что-то от Толстого... Для политического деятеля это было препятствием, и если Маклаков при всех своих исключительных дарованиях, не занял все-таки в русской политической жизни одного из самых первых мест, то пожалуй именно из-за этого. Не помню точно, в какой статье или книге Алданов приводит слова Наполеона о его бесконечных колебаниях и сомнениях при разработке плана кампании: “Но после того, как решение принято, я человек стальной”. Для этого, разумеется, нужно редчайшее соответствие ума и воли, — то самое, что в знаменитом стихотворении отметил у Наполеона Тютчев: “Два демона ему служили, две силы чудно в нем слились...” Великие исторические удачи,

великие мировые карьеры именно на таком сочетании основываются. Но и в повседневной политике выбор определенной линии и решения облегчается четкостью политического кругозора, отсутствием склонности заглядывать слишком далеко в смежные, а то и в чуждые области, — и таков был по сравнению с Маклаковым Милюков. Этих двух политических деятелей сравнивали постоянно и будут сравнивать еще долго. Нет, кажется, никого, кто не признал бы, что природою Маклаков был одарен щедрее, был более гибок, разносторонен, "интуитивен". Но с тем же единодушием все признают, что в качестве политического лидера Милюков был крупнее и гораздо влиятельнее. Никакого противоречия между этими утверждениями нет: наоборот, одно другое дополняет и доказывает, — если бы нужно было это еще доказывать, — что некие "шоры" успеху политической деятельности способствуют. Насчет Милюкова, впрочем, у меня нет полной уверенности в том, что его манера держаться, его общеизвестный политический облик соответствовали его подлинному духовному строю. Однако в поведении общественном Милюков бывал невозмутим, и постоянной, будто застывшей на его лице, чуть-чуть высокомерной улыбкой, плавными, спокойными округленными жестами давал понять, что к правильно намеченной им цели есть лишь один, им же намеченный правильный путь. За Милюковым шли потому, что он освобождал от ответственности и брал все на себя: взамен он требовал только доверия.

Эти два человека, Милюков и Маклаков, органически не были способны столковаться. Но, конечно, в Маклакове преобладал именно человек, с очевидными для всех сомнениями или даже слабостями, и

если за ним реже следовали, то к нему искренее тянулись. Его больше любили. Даже в той политической "переоценке ценностей", которую он предпринял на склоне лет, чувствовалось естественное и горестное человеческое недоумение перед всем, что в мире произошло. И поиски выхода из происшедшего тоже были у Маклакова естественной человеческой реакцией на бедствия и невзгоды нашего времени, — независимо от того, к чему эти поиски его привели. Если я коснулся природной склонности Маклакова к сомнениям, то с тем, чтобы оттенить его твердость под конец существования в главном для него деле: в отстаивании права каждого из нас распоряжаться своей жизнью и устраивать ее на свой лад, по своей воле. Было бы заблуждением счесть, что Маклаков ограничился в этих своих доводах обычными, стереотипными рассуждениями о свободе, о личности, о будто бы сохранившихся в еще живом, чистом виде христианских началах западной цивилизации (рассуждениями, или вернее разглагольствованиями, которым со слепым, механическим жаром неутомимо предаются рядовые публицисты и ораторы, до нельзя упрощая вопрос о "нас" и о "них", а главное — о том, **что**, какой идеал может и должен противопоставить западный мир миру коммунистическому). Дорогое Маклакову понятие справедливости включало, конечно, и справедливость социальную, нигде еще не достигнутую, именно евангельской моралью настойчивее всего и диктуемую, — и в последних его писаниях это особенно ясно. Россия, — утверждает он, — людей обманывает, в России "справедливость клеймят презрительной кличкой уравниловки", в России "установлен рабский труд для государственной власти", — но обман еще держится, ибо низшим

слоям населения во всех странах еще хочется верить, что это хоть и прискорбный, но временный этап и что он оправдан враждой, которая Россию окружает, хочется верить, что конечной целью коммунизма остается уничтожение эксплуатации человека человеком и исчезновение всех привилегий и преимуществ. Поэтому-то в нашем беспечном мире еще много "горючего материала", который повсюду угрожает пожаром. По Маклакову к истинной справедливости, без ахеронтовых ужасов, привести может только соглашение. Будет ли оно когда-нибудь налажено, найдут ли в себе люди достаточно благоразумия и благородства, чтобы к нему хотя бы приблизиться, — как знать? "Верую, Господи, помоги моему неверию". Но в утверждении того, что именно это — главное, основное, Маклаков был в последние свои годы непоколебим и здесь сомнениям в его сознании места не нашлось.

Он был масоном и этого не скрывал, — не скрыл даже при немцах, когда принадлежность к масонству приравнивалась к преступлению. В той же статье, на которую я уже ссылался, А. В. Тыркова пишет, что однажды с недоумением спросила Маклакова, почему он масон. Василий Алексеевич будто бы ответил, что "масонство есть братское общество для укрепления гуманитарных идей".

В этих словах сказано больше, чем на первый взгляд кажется, и чем повидимому показалось Тырковой. Смысл их был бы еще яснее, если бы вместо "общества" Маклаков сказал "организация". Общество звучит расплывчато, и мало ли в самом деле существует на свете обществ, неизвестно чем и для чего объединенных? Организация предполагает определенность задач, отчетливость в строении, и даже

если не судить о том, в какой мере связывал Маклаков масонство со своими политическими и социальными надеждами или насколько большое значение придавал обрядовой его стороне, можно признать, что участие его в нем было естественным следствием его общих взглядов.

Маклаков знал по своему долгому общественному опыту, а кроме того знал, как историк по образованию, что идеям, даже самым плодотворным, брошенным на произвол судьбы, грозит распыление и исчезновение. Идеям нужна дисциплина, поддержка, длительная работа по их внедрению в умы, иначе от них рано или поздно не остается и следа. Маклаков знал и то, — и об этом писал, — что самые высокие идеи с парадоксальной прямолинейностью приводят иногда к результатам чудовищным: этот тревожный, "проклятый" вопрос впервые у нас поставлен был, в связи с неистовствами французской революции, Карамзиным, а Герцен в "С того берега" это недоумение подхватил и сочувственно Карамзина процитировал, несмотря на свою неприязнь к нему. Как это возможно? Маклакова вопрос этот должен был смущать и пугать, а люди, объединенные желанием предотвратить подобные искажения, должны были представляться ему союзниками. В Маклакове вообще было кое-что от человека восемнадцатого века и вероятно он признал бы, что история свернула с правильного пути и что не плохо было бы человечеству вернуться к руководящим идеям "века просвещения", обойдясь на этот раз в их развитии без робеспьеровских крайностей.

По существу именно в этом был "главный урок его жизни". Над уроком этим с пользой для себя должны бы задуматься все наши современники.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

НАСТОЯЩАЯ КНИГА
«ИЗДАНИЯ ДРУЗЕЙ В. А. МАКЛАКОВА»
ОКОНЧЕНА ПЕЧАТАНЬЕМ В ТИПОГРАФИИ
IMPRIMERIE DE NAVARRE, PARIS-13e
30-го ДЕКАБРЯ 1959-го ГОДА

Склад издания
у В. В. Вырубова.
4, rue de Sèze, Paris-9e.

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ — В. А. МАКЛАКОВ